

Виктор Некипелов

ИНСТИТУТ дураков



*Документальная повесть
об институте и.м. Сербского
и пятнадцать стихотворений её автора*

Виктор Некипелов Институт дураков

Виктор Некипелов

Институт дураков

*Документальная повесть
«Институт дураков»
и
избранные стихотворения*

Текст документальной повести «Институт дураков», созданный на основе машинописной рукописи автора, любезно предоставлен Н.М.Комаровой-Некипеловой.
На английском языке книга была издана в Лондоне в 1980 г.
На русском языке — в Париже в 1999 г.
Стихотворения взяты из сборника:
Виктор Некипелов. СТИХИ. — Париж, La Presse Libre, 1991. — 224 с.

Некипелов В.А.

Н 472 Институт дураков. — Барнаул, Изд-во организации «Помощь пострадавшим от психиатров», 2005. — 180 с.

Виктор Некипелов (1928-1989), поэт, своим творчеством помешавший советской власти, в книге «Институт дураков» рассказывает о том, что ему пришлось наблюдать в институте судебной психиатрии им. Сербского, куда он был направлен во время следствия на «экспертизу».

Книга издаётся в России впервые.

Кроме того, опубликованы пятнадцать стихотворений автора и его биография.

ISBN 5-98550-022-5

© Н.М. Комарова-Некипелова, 2005
© Оформление. И.В. Гирич, 2005
© Послесловие, примечания. В.Ф. Абрамкин, 2005
© Фото на 1-й стр. обложки. А.П. Подрабинек, 2005
ОАО «Алтайский Дом печати»
656049, г. Барнаул, ул. Б. Олонская, 28.

Эта книга — о настоящем

31 год прошёл с момента описанных в книге событий. Произошли ли в психиатрии за это время принципиальные изменения?

Нет.

Бесчеловечность, жестокость, беззаконие — были и остаются ежедневными. Факты, подтверждающие это, предпочитают не замечать те, кому это выгодно.

Во-первых, это сами психиатры. Жертвы собственных заблуждений, они, возможно, начинают свой профессиональный путь из благих побуждений. В то время когда им, юным студентам, внушают мысль о том, что психиатрия — серьёзное врачебное искусство, их ещё нельзя назвать злодеями. Злодеями они становятся тогда, когда им самим понадобятся жертвы. С годами некоторые из «лекарей» понимают, какова цена их «лечению». Кое у кого даже хватает смелости публично признавать это.

Во-вторых, это государство. Психиатрия для него — дополнительный элемент полицейской системы, удобный тогда, когда невозможно доказать чью-либо вину, а человек уж очень мешает государству. Бывает и наоборот — когда преступника нужно освободить от ответственности.

В-третьих, большая масса простых людей. Может, даже, и не совсем простых — а т.н. образованных, интеллигентных. Если им не пришлось испытать на себе «терапию» дурдомов, то они вполне могут придерживаться мысли о необходимости психиатрической системы. Именно о необходимости, т.е. о невозможности обществу прожить без неё. Каковы источники таких убеждений? 1) Психиатрическая литература. При поддержке государства она издана и издаётся огромными тиражами; 2) Носители этой идеологии — психиатры. Производство этих «душеведов» поставлено на конвейер в государственных вузах; 3) Источники, которые нельзя потрогать — но не менее значимые: человеческая нетерпимость; ненависть; страх перед людьми с непонятным поведением; 4) Отдельно хочу отметить: человеческая греховность, нераскаянность, или даже — безбожие.

Безбожие — фундамент психиатрии.

Безбожна не идея о необходимости лечения человеческой души — эта идея в высшей степени благородна. Безбожна её практическая реализация в виде психиатрии. О человеческой душе в психиатрии не говорят всерьёз. Мозг — вот в чём психиатры ищут причины болезней. И хотя в наши годы можно слышать о появлении 'православных психиатров', это словосочетание звучит нелепо. О жизнеспособности такого словосочетания можно было бы говорить, если бы психиатрия не запятнала себя мучениями и убийством тысяч людей — в том числе и за их религиозные убеждения, если бы она была непричастна к массовым убийствам в 1930-40-е годы в Герма-

нии. Но фактов и документов слишком много. И речь идёт не только об исторических документах — и сегодня мы получаем свидетельства людей, возмущённых бессмысленностью, жестокостью, бесконтрольностью и безнаказанностью тех, кто выдаёт себя за врачей.

Ну а что с православием? Тут очень уместно будет привести высказывание митрополита Иерофея (Влахоса): «Христианство, и именно Православие, является медицинской наукой»¹. Заметьте — само христианство, а не его гибрид с чем-то. Христианский подход к лечению души изложен в многих святоотеческих источниках. В последнее время стали выходить книги, специально посвящённые этому.

Верующих других конфессий (а также неверующих) нельзя насильем заставить принять христианские истины. Им, как и всем людям, Богом дана свобода воли. Но и нельзя насильем навязывать обществу безбожную идеологию психиатрии.

А психиатрия без насилия существовать не может.

Об этом написано немало книг. Но мало из них издано в России.

Пусть «Институт дураков» Виктора Некипелова кому-то откроет глаза на это. Книга эта — не только (или не столько) художественная, но и документальная. Это записки очевидца, которым придана художественная форма. Имена и фамилии людей в ней — подлинные.

Книга эта — не только о прошлом. Она — и о настоящем.

Пусть читатель сам делает выводы о научности этого «научного» центра.

Игорь Гирич,
руководитель общественной организации
«Помощь пострадавшим от психиатров»²
2005 г.

¹Митрополит Иерофей (Влахос). Православная психотерапия. Святоотеческий курс врачевания души. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004

²Координаты организации см. на стр. 180

Благодарности

В первую очередь, мы благодарны Нине Михайловне Комаровой-Некипеловой за предоставленные рукопись «Института дураков» и фотографии автора. Поиску рукописи (или, иначе говоря, поиску Нины Михайловны) посposобствовали Бартоломей Бронжкевич (Польша), Александр Белусенко (США), Владимир Буковский (Великобритания), Валерий Абрамкин (Россия). Помощь в переписке с Ниной Михайловной оказала Соня Сорокина (Франция).

Средства на издание книги пожертвовали:

- Европейская сеть (бывших) психиатрических пациентов (European Network of (ex-)Users and Survivors of Psychiatry) (www.enusp.org). Особая благодарность её секретарю Петеру Лехману (Peter Lehmann) (Германия);
- Московская Хельсинкская Группа. Особая благодарность её председателю Л.М.Алексеевой;
- Г.О. Павловский, член редколлегии журнала «Поиски»;
- Музей и общественный Центр им. А. Сахарова;
- НИПЦ «Мемориал».

ИНСТИТУТ ДУРАКОВ

От автора

Я был арестован 11 июля 1973 года в городе Камешково Владимирской области по обвинению в т.н. распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй (ст.190-1 УК РСФСР), а фактически — за инакомыслие, самиздат, гражданский протест против нарушения в СССР прав человека, отсутствия основных демократических свобод.

До этого, начиная с 1 сентября 1972 года, я находился под следствием в качестве подозреваемого в Московской городской прокуратуре вместе с московским биологом С.Г.Мюге, его женой К.М.Великановой, геологом М.Н.Ланда и др. Однако позже по каким-то маневрам Мосгорпрокуратуры и КГБ я был отделен от этой группы и арестован по месту жительства.

Мое «дело» вела Владимирская областная прокуратура. В качестве «преступных деяний» мне инкриминировали:

1. Написание нескольких «клеветнических» стихотворений;
2. Изготовление и распространение статьи «Нас хотят судить — за что?»;
3. Набросок плана «клеветнической книги» (еще не написанной!), которой следствие само дало название — «Книга гнева»;
4. Передача одному знакомому экземпляра «Хроники текущих событий».

Во время следствия, длившегося свыше десяти месяцев, я находился в заключении во Владимирских тюрьмах №1 и №2, а также недолго в Бутырской тюрьме в Москве. Т.к. была попытка применить ко мне психиатрическую репрессию, то владимирские психиатры услужливо дали заключение о возможном наличии у меня так называемой «вялотекущей шизофрении», и я был направлен на стационарное обследование в Москву, в известный институт им. Сербского, где находился с 15 января по 15 марта 1974 года.

Не знаю, что помешало властям успешно завершить эту попытку. Скорее всего то, что я попал в институт Сербского в неблагоприятный для них период: на Западе начались активные протесты против использования в СССР психиатрии как средства для подавления инакомыслия. Видимо, власти просто побоялись еще одного инцидента. Так или иначе, после двухмесячного «обследования» я был признан психически здоровым и 16–21 мая 1974 года осужден Владимирским областным судом и приговорен к двум годам лагерей общего режима. Этот срок я отбыл в гнусном уголовном лагере в поселке Юрьеvec, в 8 км от г. Владимира, откуда и освобожден 11 июля 1975 года.

Настоящие записи касаются лишь одного этапа моей гулаговской одиссеи, недолгого, но характерного, — пребывания в институте имени Сербского.

Я попытался рассказать обо всем, что увидел в этом любопытном, окутанном мраком безвестности учреждении, являющимся своеобразным ги-

бридом советской системы террора и советской медицины. Я включил в повествование как бытовые подробности, так и рассказы о людях, встретившихся мне в тех удивительных стенах.

Конечно, мои записи страдают досадной неполнотой, поскольку я побывал в институте не в качестве журналиста-репортера, а в качестве обыкновенного, связанного по рукам и ногам бесправного экспертного зека. Я почти ничего не смог рассказать о структуре института и организации его работы. Я не смог назвать по фамилиям всех врачей даже своего отделения, ибо в институте они тщательно скрываются. Но что-то я все-таки увидел и понял.

Насколько мне известно, в нашей бесцензурной литературе нет (кроме разве что «Мыслей сумасшедшего» П.Г.Григоренко, «Кто сумасшедший?» братьев Медведевых и еще нескольких коротких замет) достаточно полного рассказа об институте имени Сербского, хотя интерес к этому печально славному учреждению, конечно, велик. Так может быть, мои записи хоть в какой-то степени восполнят этот пробел, а главное — позовут к действию кого-то более знающего и опытного. Я так и рассматриваю свою работу — как часть коллективного труда по преданию гласности и, следовательно, обезвреживанию одного из зловещих островов советского ГУЛАГа, сегодняшнюю цитадель наивысшего бесправия и бесконтрольных опытов над беззащитным арестантским мозгом — институт имени проф. Сербского в Москве.

Всем советским инакомыслящим, ставшим жертвами психиатрической репрессии, сегодняшним и вчерашним узникам спецпсихбольниц я и посвящаю свои заметки — мой посильный вклад в борьбу с этим едва ли не самым отвратительным видом политического террора и насилия в наши просвещенные дни...

Вы говорите, доктор, я здоров?
а между тем моим родным сказали,
что болен я, и чтоб они меня
немедленно в больницу отправляли?

Ах, доктор, доктор! Право, Вы чудак,
и одного понять не можете никак:
что мне болезнь моя — отрада.
Здоровья вашего и даром мне не надо.
Здоровья вашего, которым Вы **больны!**
Мои слова вам кажутся смешны?

Но право, доктор, под большим сомнением —
кого сажать сегодня в желтый дом:
меня иль всех, кто в диком озлоблении

волнуются кругом!..

(Из стихотворения «Сумасшедший»
неизвестного автора, конец XIX века)

Кропоткинский переулоч, 23

— Сколько в Москве вокзалов? — Девять. Ярославский... Савеловский... С Рязанским, что не понятно, вокзал или платформа (на Каланчевке), даже десять.

— Сколько аэропортов? — Загибаем пальцы: Внуково, Шереметьево... Пять!

— А сколько тюрем?

Оказывается и это не сложно сосчитать.

— Бутырка — самая знаменитая, давняя, еще Пугачев сидел... Матросская Тишина... Красная Пресня — всесоюзная пересылка... Таганку снесли в хрущевские годы... Еще Лефортово — тюрьма КГБ. Еще Лубянская внутренняя — самая таинственная... Все. Пять!

— Шесть, — уверяю я.

Да, эта последняя, с застекленными окнами без решеток, официально тюрьмой вроде не считается. И тем не менее, я считаю ее тюрьмой, самой настоящей и едва ли не самой зловещей.

Хоть и не подолгу в ней сидят, вроде пересылки.

— Как для кого, — скажут некоторые, — как для кого...

Кропоткинский переулоч, 23. В самом центре Москвы. Рукой подать до Крымского моста, до Смоленской площади, до высотной громадины Министерства иностранных дел... Непримечательное трехэтажное здание старинной постройки, окруженное серым, молчаливым забором — едва ли кто разглядит на нем тонкую паутину проволоки, натянутой для сигнализации о побеге... Ну а овчарки внутри двора не лают — вымуштрованы...

Институт фасадом выходит в Кропоткинский переулоч, тылом — на шумный Смоленский бульвар, и с этой стороны его сейчас надежно загородил 25-этажный жилой дом на марсианских железобетонных ногах (Смоленский бульвар, дом 6-8). Въезд в институт — с торца, с улицы Щукина, 19. Здесь расположена незаметная проходная и сюда сворачивают неприметно с Садового кольца «воронки». Со всех сторон всесоюзную психиатрическую тюрьму, главную лабораторию бесконтрольных экспериментов на бесправных и беззащитных зеках, окружают мирные и, конечно, очень нужные учреждения, которым и невдомек, какое чудовище приткнулось к ним. Вот Министерство образования СССР (Смоленский бульвар, 4) — цитадель света и

знания... С торца, в доме по Кропоткинской улице, 38 — детская библиотека им. Н.К.Крупской и ВНИИ «Биотехника» (вот с этим учреждением, по-моему, институт Сербского определенно имеет контакт)... Пельменная — в том же доме... Чуть поодаль на углу магазин «Березка», иностранцы снуют... В тихом Кропоткинском переулке, в старинных респектабельных особняках вообще невозможное... редакция журнала «Латинская Америка!» (Кропоткинский переулок, 24), дом-музей П.А.Кропоткина (Кропоткинский переулок, 26 — здесь, в этом доме родился великий отрицатель государства — насильника над личностью)... Нет, не представить и томящимся за серой бетонной стеной зекам, какие экзотические, мирные, пестрые — да разве бывают такие? — учреждения в сотне метров от них!

«Некипелов, с вещами!»

Вторник, 15 января 1974 года. Перед подъемом, около половины шестого, с лягом распахнулось кормушечное окно моей бутырской камеры-одиночки...

— Некипелов? Имя-отчество?.. С вещами!

Все ясно. Этап в институт. Екнуло сердце. Вот и пришел мой час. Наспех укладываю вещи, собираю постель, жду. Минут через пятнадцать приходят за мной. С трудом волоку узел с постелью. В другой руке мешок с личными вещами. Долго иду за вертухаем по длинному коридору, устланному старинной, скользкой, чисто вымытой плиткой. С обеих сторон — камеры.

Около одной из них вертухай останавливается и ко мне присоединяется парень лет 28-ми, в сером кургузом пальтеце. Лицо добропорядочное, умное, заросшее черной, месячной давности бородкой. В руках у него небольшой узелок из серой тряпицы, и он с интересом смотрит на мой, оттягивающий руку мешок. Нас выводят наружу, и, пройдя двор, мы оказываемся в знакомом уже отсеке приемного корпуса, где сдаем постели. После этого нас запирают в одной из сборных камер. Холодно. В раскрытое зарешеченное оконце, что почти под потолком (не дотянуться), густой струей, как паста из тюбика, вползает белый морозный воздух.

— Яблочка нет случайно? — спрашивает парень, кивая на мой мешок.

— Нет. Конфеты есть. Хочешь?

Угощаю. Знакомимся. Моего напарника зовут Володя. Москвич. Сидит уже около двух лет. «Закосил», и был признан невменяемым. Здесь сидел в «признанной» камере и сейчас понятия не имеет, куда его «дернули».

Говорю, что, по всей вероятности, в институт Сербского.

— В Сербского?.. — Володя бледнеет. Но ведь он уже был признан... Значит, переосвидетельствование? Могут разоблачить? Как теперь себя вести? Он явно растерян, и весь погружается в тревогу.

А в камеру постепенно — по одному, по два — прибывают новенькие, и вот она уже гудит, как улей, и наполняется дымом и потом. Обычная уголовная публика, ни одного интересного лица. Выделяется в ней жуковатого вида мужичок с блатными повадками — какой-то известный московский вор из Марьиной рощи. Маленький, сморщенный, лет под пятьдесят. Но глас зычный, законодательный, камера группируется вокруг него. Достает из мешка и показывает две кроличьи шапки, выигранные в карты в камере. А на голове — рыжая, лисья... хотя и потертая. Мне все это уже знакомо и не удивляет. От нечего делать изучаю надписи на стенах. Карандашом, гвоздем, горелой спичкой: «Коля, везут в Сербского. Олег», «Наташа, меня признали. Слон», «Жду этапа в Сербского»... Становится не по себе от чьих-то криков, каким-то темным пророчеством веет от этого лаконичного «меня признали».

Текут часы. Раздают ложки, хлеб, кормят завтраком — жидкая пшенная каша. Еще через час ведут всех — человек по пять — в парикмахерскую. Зек-парикмахер снимает бородатым машинкой для стрижки волос бороды. Затем командуют спустить брюки, и второй зек из хозобслужбы такой же машинкой оголяет каждому лобок. Состригает и под мышками. Что ж, это уже пахнет медициной. Профилактика! Чего?.. Видимо, иначе институт Сербского не принимает!

Возвращаемся в камеру. Ждем. Нас уже человек двадцать. На лавках все не умещаются. Кто на полу сидит, кто на корточках, прислонясь к стенке, кто на мешке... Я держусь возле Володи.

Вдруг за дверью, в коридоре, дикий крик:

— Ой-ей-ей! Не надо! Ой! Не бейте! Это мое! Мое! Кофта, правда, моя!..

Минут через десять в комнату вталкивают человека, одетого довольно странно и для зимы очень легкомысленно. На нем вылинявшая, коротенькая, до пупка, солдатская гимнастерка и такие же вылинявшие узенькие, до щиколоток, брючки-галифе. На ногах разбитые башмаки без шнурков — «коцы», а на голове крошечная фетровая шапочка, похожая на еврейскую ермолку, в таких обычно старики ходят париться на полог. Под этой ермолкой такое широкое, веснушчатое, комичное русское лицо, что невозможно удержаться от смеха.

Камера оглядывает вновь прибывшего. Постепенно выявляется связь между недавним криком в коридоре и странным нарядом незнакомца.

— Ты кричал? — спрашивает марьино-рощинский вор.

Человек в фетровой ермолке кивает.

— Так ты, с-сука... — вор встает и подходит к Ермолке явно для расправы.

— Да ты ничего не знаешь! — кричит Ермолка. — Не знаешь!

Но все уже понимают, в чем дело. При проверке имущества, которая обязательно проводится при выбытии заключенного из тюрьмы, обнаружилось,

что на нашем незнакомце нет ни одной вещи из перечисленных в карточке и одет он во все чужое. То есть снятое с кого-то (или выигранное) в камере. Вертухаи в сердцах избил поборника и содрали с него чужую одежду, а взамен бросили какое-то солдатское старье. Видно, и мешок забрали.

При всей дикости воровской «этики» такой побор был не в ее правилах. Да еще явная трусость и этот крик пороссячий... Назревал самосуд над Ермолкой, и Лисья Шапка уже два раза скользнул ребром ладони по носу Ермолки, но тут лязгнул засов двери и раздалась команда: «Выходи!»

Всех нас погрузили в «воронок». Последним, уже нам на колени, втолкнули Ермолку.

Поехали! Дашь институт Сербского! Новых дураков везут!

Судебной психиатрии институт

«Судебной психиатрии институт им. профессора В.П.Сербского — советское центральное научно-исследовательское учреждение, разрабатывающее теоретические и практические вопросы судебной психиатрии. Организован в 1921 г. в Москве. Институт производит судебно-психиатрическую экспертизу в наиболее сложных и спорных случаях, вырабатывает критерии судебно-психиатрических оценок различных клинических форм душевных заболеваний и пограничных состояний. Институт осуществляет также методическое руководство работой на периферии, разрабатывает инструктивные положения по вопросам судебно-психиатрической экспертизы и принудительного лечения, периодически созывает всесоюзные совещания по вопросам судебной психиатрии, готовит кадры судебных психиатров, обобщает материалы научного исследования и освещает их в периодически издаваемых сборниках».

(Большая советская энциклопедия, том 41.)

Кожура от апельсинов

«Воронок» остановился, мы вылезли один за другим и осмотрелись. Во дворе в круглой арке входа мы увидели большую двойную дверь, через которую нас ввели в просторный вестибюль с выложенным мозаикой полом. Широкая лестница со старыми стертými ступенями вела наверх. Низкорослый капитан, сопровождавший «воронок», подбежал торопливо с портфелем, в котором находились наши дела.

Все двадцать пять, мы были заперты в помещении, состоящем из двух комнат и туалета с умывальником. В большей комнате стоял длинный стол, на котором можно было сидеть. Расположились кто как сумел. Лисья Шап-

ка с гордостью рассматривал свое барахло, вытащенное из мешка. Ермолка поникло сидел на корточках в углу.

В туалете висело предупреждение: «Кожуру от апельсинов в унитаз не бросать!» Куда нас привезли? Объявление казалось неправдоподобным. Для кого оно? Конечно, мы не станем бросать в унитаз кожуру от апельсинов! Я уверен даже, что если бы кожура появилась там в тот момент, ее выловили бы тут же и засунули в жадные рты, истосковавшиеся по человеческой еде.

Схема психиатрической экспертизы

«Институт проводит судебно-психиатрическую экспертизу в наиболее сложных и спорных случаях»... Большая советская энциклопедия, похоже, правильно определяет работу института. Именно когда специалисты амбулаторий и больниц не могут определить наличие и характер душевного заболевания у своих пациентов, они направляют их в институт им. Сербского. Очевидно, что большинство преступников, находящихся в спецпсихбольницах (тюремных больницах под управлением МВД), специальных отделениях обычных психиатрических больниц (под управлением Минздрава), признаются невменяемыми без помощи института им. Сербского. Но обвиняемые по политическим статьям (ст. №№64–70, 72 и 190-1 УК РСФСР), как правило, редко направляются на обследование в местные психиатрические клиники и еще реже признаются там больными³. Так, например, инженер-химик и Ставрополя Олег Соловьев, арестованный в марте 1969 г. по обвинению в распространении произведений самиздата, был признан невменяемым в Ставропольской областной психиатрической больнице⁴. Но за последние несколько лет подобные ему люди все чаще направлялись в институт Сербского после пятиминутного амбулаторного обследования, минуя стационарное обследование в местной психиатрической больнице. Есть исключения, как случай с киевским математиком Леонидом Плющом, который никогда не проходил стационарного обследования⁵. Амбулаторно он был обследован один раз в Киеве гражданскими психиатрами и дважды в Москве в Лефортовской тюрьме — психиатрами из института им. Серб-

³Статьи 64, 70 и 72 УК касаются «особо опасных государственных преступлений»: измена Родине, шпионаж, террористические акции, саботаж, действия, вызывающие разрушения или крушения, анти-советская агитация и пропаганда.

⁴Олег Соловьёв, инженер-химик из Ставрополя (Северный Кавказ), был арестован в марте 1969 г. с обвинением в печатании произведений самиздата, признан невменяемым и находился в психбольницах до августа 1972 г.

⁵Леонид Плющ, украинский математик, работал в Институте кибернетики в Киеве. В июле 1968 года был уволен за критику судов над инакомыслящими. Член и основатель Инициативной группы по охране прав человека в СССР. Был арестован в январе 1972 г. во время расправы КГБ с украинской оппозицией. После восемнадцати месяцев заключения Плющ был признан судом невменяемым и направлен на «лечение» в Днепропетровскую спецпсихбольницу. Благодаря широкой кампании его защиты на Западе в 1976 году был освобожден из больницы и по сути этапирован на Запад. Вместе с ним его семья эмигрировала во Францию.

ского. Эти два последних обследования были записаны в обвинительном заключении стационарными.

Говоря о политических заключенных, подвергнутых психиатрическому обследованию, я имею в виду здоровых людей, признанных невменяемыми.

Следует отметить, что термин «политические заключенные» я считаю условным. Большинство советских узников, репрессированных властями по статьям 70 и 190-1 УК РСФСР, в строгом смысле слова не являются политическими заключенными, так как они не занимались никакой четко выраженной политической деятельностью, не выступали за изменение существующей в СССР формы правления и государственного строя. Все эти люди репрессированы за гражданскую деятельность, за выступления в защиту прав человека, за выполнение властями конституционных свобод, а часто — за просто нравственный протест. Для характеристики этих людей, называемых также иногда «инакомыслящими» или «диссидентами», еще не найдено пока удовлетворительного определения. Предложенная недавно международной организацией «Эмнисти Интернэшнл» формулировка «узники совести» также не совсем точна, хотя она ближе всего к сути явления.

Мое амбулаторное обследование было проведено во Владимирской областной больнице 14 сентября 1973 года. После пятиминутной беседы со мной комиссия вынесла заключение: «Излишняя, чрезмерная вспыльчивость, заносчивость... Склонность к «правдоискательству», «реформаторству», а также к реакции «оппозиция». Диагноз: вялотекущая шизофрения или же психопатия... для уточнения необходимо направить на стационарное обследование». И следователь выписал постановление о направлении меня на обследование в институт имени Сербского. Я заметил следователю, что быстрее и дешевле было бы провести такое обследование во Владимире, на что он ответил: «В нашей психбольнице нет специального отделения, мы сюда никого не переводим. Здесь нет решеток на окнах». Это была явная ложь — и про решетки, и про заключенных. Со мной в камере №40 во Владимирской тюрьме №1 сидел человек, который проходил стационарное обследование во Владимире. Но он был обычным уголовным преступником, обвиненным в хищении государственного имущества. Просто следователь был убежден, что в институте Сербского, где неоднократно уже здоровых диссидентов объявляли невменяемыми, подтвердят мою «вялотекущую шизофрению», т.е. признают больным.

Зелёный кувшинчик

Размышления на тему кожуры от апельсинов прервал вошедший охранник:

— На выход! Кто первый?

Желающих быть первым оказалось много, и охранник взял того, кто ближе всех стоял к двери. Потом вывел еще одного, а в следующий раз зашел с бумагой в руке.

— Который из вас Не-ки-пе-лов? — прочел по слогам.

Я вышел вперед. Все смотрели на меня с удивлением и интересом. За что это ему такое отличие? Охранник провел меня в приемную и усадил у двери, сказав: «Ждите».

Ждал недолго. Меня вызвали в кабинет. За столом сидел врач. У него было желтоватое лицо курильщика, глубоко посаженные глаза за темными очками напоминали совиные. Я узнал позже, что это был Альберт Александрович Фокин, из 4-го отделения. Многих диссидентов именно он отправил в психиатрические тюрьмы.

Фокин заполнил бланк, прикрепленный к карточке-истории болезни. После серии обычных вопросов, касающихся моего обвинения, образования, последнего места работы и детских болезней, он вдруг спросил: «А как Вы ведете себя в коллективе? Вы легко общаетесь с людьми?». Я пожал плечами. Вопрос был нелепый. К тому же я для себя решил, что вообще не буду вступать в разговоры с психиатрами.

Мое дело лежало на столе — пухлая папка, листов сто пятьдесят... Думаю, это было мое тюремное дело, которое не нужно путать со следственным. Возможно, последнее тоже было направлено в институт Сербского.

Когда формуляры были заполнены, две толстые няньки повели меня в баню. Сверкающая белизна кафеля была пыткой для глаз. Няньки велели раздеться и сунули мою одежду и все мои вещи в казенный больничный мешок, сказав, что в отделении меня накормят. Мои попытки оставить при себе Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс не увенчались успехом — «не положено». Тетради няньки отложили, чтобы отдать на просмотр врачу — так, мол, положено, их вернут с разрешения врача. Тут же из тетрадок были вынуты скобки. Еще одно психиатрическое «не положено». Бог мой, сколько таких «положено» и «не положено» в ГУЛАГе! Они забрали мою расческу, очки, шариковую ручку тоже, уверяя, что врач непременно разрешит пользоваться ею. Освободив от этих обременяющих плоть предметов, няньки усадили меня в ванну и запорхали вокруг, как наяды. Одна терла мне спину мыльной губкой, другая поливала мою голову теплой водой из пузатого зеленого кувшинчика с выщербленной эмалью. Кувшинчик был так старомоден, казался таким мирным, домашним, он будто перенесся сюда из далекого-далекого детства.

Основания для назначения экспертизы

Следователь назначает экспертизу для получения сведений о психическом здоровье подсудимого и о его способности отдавать себе отчет за совершенное преступление. Экспертиза назначается и в случае, когда есть справка, что обвиняемый в прошлом уже состоял на психиатрическом учете, находился или находится под наблюдением психиатра. Для направления человека, находящегося под следствием, не требуется согласия прокурора (ст.188 УПК РСФСР⁶). Хорошенькое дело! В системе Управления внутренних дел, где следователь и прокурор находятся в одном списке платежной ведомости и получают зарплату в одной и той же кассе, подразумеваемого контроля над следствием со стороны прокурора в данном случае просто не существует⁷. Наши прокуроры вообще не любят спорить со следователями. Зачем им это? У тех и других цель одна — защищать интересы государства. И правда здесь не требуется, не нужна.

А если подойти к вопросу с точки зрения демократического судопроизводства? Как же так? Получается, что любой человек может подвергнуться психиатрическому обследованию не только без согласия на то, но и против его собственной воли. Для этого достаточно «внутреннего убеждения» (которое, интересно отметить, всегда совпадает с «внутренним убеждением» начальства) следователя, что обвиняемый психически болен. Следователь подписывает направление — и тюремщики укладывают человека на психиатрическую койку! Если с вами это случится, скорее всего, вы там и останетесь. Раз уж вы оказались в психбольнице, значит с вами не все в порядке. Что-нибудь непременно найдут.. убеждения, сомнения, размышления и т.д. «Ищите, и найдете!» — говорят врачам. И врачи ищут. И... находят. Находят, даже если следователь выписал постановление об экспертизе в момент собственного раздражения против обвиняемого, или потому, что получил взятку от родственников, или просто по прихоти, чтоб насолить коллеге-субутыльнику. Врачи уже ничего изменить не могут, они непременно что-то найдут, потому что не могут противостоять «внутренней убежденности» следователя, а значит и высших властей. В конце концов, они тоже стражи интересов государства, они служат правительству, а не Эскулапу. И два раза в месяц аккуратно выстраиваются в очередь за зарплатой, как и прокурор со следователем.

⁶Статья 188 декларирует, что «если при производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы возникает необходимость в стационарном наблюдении, следователь помещает обвиняемого или подозреваемого в соответствующее медицинское учреждение, о чем указывается в постановлении о назначении экспертизы».

⁷Советская прокуратура наделена широкой властью, в отличие от органов юстиции в других странах. Для обеспечения действительного правосудия она выполняет функции юридического наблюдения и контроля на стадии предварительного следствия, которое проводится органами МВД или КГБ.

Здравствуйте, психи!

После мытья няньки повели меня по лестнице на второй этаж. Здесь, в конце коридора, расположено 4-е отделение, через которое прошли все диссиденты. Паркетный пол был натерт до скользкого блеска. Черноволосая татарка-медсестра улыбнулась мне, как давно потерянному и вернувшемуся вдруг родственнику. Она открыла дверь в палату, и я вошел в просторную комнату с двумя рядами белых железных кроватей, покрытых зелеными верблюжьими одеялами. Пол здесь тоже был паркетный и тоже блестел. В центре комнаты стоял длинный стол, и на нем покоилась клетчатая кухонная клеенка. Нижняя часть стекла двух огромных окон была закрашена белой краской, и над ней я увидел голубое небо, верхушки деревьев и жилой дом с балконами! И самое главное — застекленные окна не были зарешечены! (Позже, проверив стекла, я понял эту «беспечность» — они были противоударные, небьющиеся.)

Оторвавшись от захватывающего дух вида, я увидел, наконец, обитателей моего нового странного мира. Зеки лежали или сидели на кроватях, но они ничего общего не имели с теми истощенными людьми, которых обычно называют «зеками». Это были обыкновенные больные в обычной больнице, одетые в обычные полосатые пижамы и фланелевые халаты. За столом играли в домино. Как курица-наседка с выводком цыплят, у двери сидела толстая нянька. Табуретом, как я потом увидел, служил ящик с песком для тушения пожара. Орало радио. Сестра подвела меня к пустой койке справа от прохода, Улыбнулась: «Чувствуйте себя как дома. Вам здесь будет удобно».

Она вышла, и я сел на кровать, стараясь чувствовать себя как дома, оглядываясь и привыкая к новой обстановке. Обитатели палаты смотрели на меня с выжидательным вниманием. Нянька тоже. На кровати слева от меня без движения лежал молодой парень с густой черной бородой. Его глаза были как два черных отверстия в алебастровой маске. Он был похож на ребе, беседующего с Богом, и, кажется, был единственным, кто отнесся к моему появлению с полным равнодушием. Впрочем, сосед справа тоже казался безучастным. Завернувшись в одеяло, он лежал на боку лицом ко мне и сосредоточенно грыз ногти.

Значит, это и есть «психи»? Предполагая, что я единственный из всех не псих, я решил заговорить первым. Кто-то же найдется разговорчивый и отреагирует на мой голос. Может быть, кто-нибудь даже поймет и ответит...

— Откуда вы, друзья, — спросил я, — за что вы здесь?

— Тот, который слева от Вас, убивец, — прогудел голос из-за стола, где играли в домино, — угробил свою мать и младшую сестру молотком. Статья

102 — та же, что и у того, что справа⁸. Он вор. Совершенный псих. Он ночью бросается.

Уловив, что о нем говорят, Ногтеед улыбнулся, издал короткое рычание и быстрее заработал челюстями. Я чувствовал, что мне морочат голову, но по спине пробежали мурашки. А что если в самом деле почью он вцепится в мое ухо зубами?

— А Вас сюда за что? — спросил один из сидящих за столом.

— 190-1.

— Это что, политический?

— Что-то в этом роде.

— О, у нас уже есть здесь политиканы, — сообщил чей-то веселый голос.

— Вот один, а там еще один. Эй, Витя! Матвеев!

Над кроватью в углу приподнялась голова. Парень с приятным лицом, лет 25–26, с серыми глазами и редкими пшеничного цвета бакенбардами, улыбнулся и потянулся спросонья.

Я был удивлен, потому что впервые за полгода тюремных странствий встретил кого-то с таким же, что и у меня, обвинением, и вдруг поймал себя на том, что забрасываю его вопросами.

— Вы по 190-1? Вы откуда?

— Да, тоже. Из Ростова.

Смутное подозрение шевельнулось в моем мозгу.

— Вы из какой тюрьмы?

— Из Бутырок.

— Какая камера?

— Шестьдесят четыре.

— Значит, Вы, наверно... «Шейх»?

Парень улыбнулся польщенно.

— Верно.

Я улыбнулся тоже. «Шейх»! Я вспомнил холодную серую камеру в Бутырках, в которой отчаянно боролся с клопами в первые две ночи. На стене в ней был нацарапан календарь на декабрь, а ниже шла старательно выведенная подпись: «Шейх — антикоммунист. Ростов». Ежедневное вычеркивание дней месяца окончилось перед самым Новым годом — заключенного, видимо, куда-то перевели. И вот... он тут. Такой грозный титул и такое мягкое, почти мальчишеское лицо.

— Здесь есть еще один человек по 190-1, но он спит сейчас. Вон там — третья кровать от моей. Он тоже из Ростова!

Ладно, ладно, щелкай челюстями, Ногтеед, щелкай! Я тебя больше не боюсь, я не один. Я начинаю понимать, что на самом деле здесь не так уж много настоящих психов.

⁸Статья 102 УК РСФСР — «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».

Обед

В разговорах с Виктором Матвеевым, в знакомствах незаметно пролетает время. Обед! Зеки заметно веселеют, физиономии их окутывает этакая чревоугодническая торжественность. Убираются со стола домино и шахматы. Приносят ложки, тарелки с аккуратно нарезанным черным и белым хлебом. Ба, московский «нарезной» батон за 13 копеек! Расставляют зелененькие эмалированные кружки с компотом. После полгода тюремных трапез такая сервировка стола выглядит царской. Зеки рассаживаются за столом, и в палату, как королевский кухмейстер, wpłyвает нянька с дымящимся подносом.

Всем присутствующим, а в палате 13 человек, места за столом не хватает. Чернобородый «ребе»-убивец и пребывающие в столбняке «реактивщики» обедают на своих постелях. С ними и я, как новенький. Нянька для этой цели приносит и стелет в ногах постели клееночку.

На первое, в глубоких алюминиевых тарелках, роскошный рассольник. С ломтиками соленых огурцов, жареным луком, чуть ли не с бараными почками. Во всяком случае, мясо присутствует. Заправлен сметаной. Все очень вкусно. На второе подают нечто вообще невообразимое — запеченный в духовке лапшевник с мясом. Корочка яичная, желтенькая, хрустит на зубах. Порция такая, что еле справляюсь. Наконец, на третье, полкружки компота из сухофруктов, вполне приличного, сладкого.

Насытившиеся зеки мурлычут, как котята. Нянька предлагает добавки, но берет немногие.

Присматриваюсь к зекам. Выделяются, как в любой камере, несколько заводил — самых нахальных, беспринципных, горластых. Здесь это чернявый, похожий на обезьяну парень лет 20-ти по фамилии Бесков и второй, такого же возраста, но светловолосый коротыш-атлет Лукашкин. Мой одностатейник Виктор Матвеев тоже, видать, человек пробивной и не на последней ступеньке в палате. Наблюдаю и за вторым «политическим». Этот — молчаливый, держится особняком. Среднего роста, скуластый, глаза с прищуром, темные. Зовут его Ваня Радиков. Он постарше Матвеева, лет 33-х. В палате в основном молодежь, лишь один человек моего возраста или чуть старше. Он плотен и тяжел, с редкими седыми волосами, луноподобным добрым и умным лицом. Судя по его внешности, я решил, что он татарин или узбек. «За что он здесь?» — промелькнуло.

После обеда почти все направились в туалет покурить. По инструкции полагается после обеда полуторачасовой отдых, и я решил использовать его по назначению. Я вдруг почувствовал страшную усталость. Впервые за полгода я вытянулся не на тюремном вонючем матрасе, а между двумя свежими, чистыми, накрахмаленными простынями.

«Дураки едят пироги» (Практический статус невменяемого)

В советской криминальной практике вменяемость и невменяемость — понятия правовые, т.е. юридические. Человек, совершивший преступление, признается вменяемым, если он сознает обстоятельства и общественные последствия совершенного. Дело рассматривается судом, и в случае доказательств и признания вины выносится обвинительный приговор с мерой наказания. Если же совершивший преступление не отдает себе отчета в совершенном и не сознает опасности своих действий из-за душевной болезни, он не может быть привлечен к уголовной ответственности. Такой человек признается больным, а не преступником, и к такому человеку в соответствии со статьей 11 УК РСФСР «могут быть применены обязательные меры медицинского характера по постановлению суда», то есть меры принудительного лечения. Заметьте, «могут быть применены по постановлению суда». Значит, могут быть и не применены? По правде говоря, часто так и бывает. Например, когда преступление не очень серьезное или совершается, даже и повторно, человеком, уже состоявшем на психиатрическом учете. В последнем случае обвиняемый несколько дней содержится в камере предварительного заключения, а за это время суд отправляет повестку официальным опекунам задержанного с предупреждением и, если это необходимо, со взысканием суммы стоимости причиненного ущерба, после чего обвиняемый отпускается. В тяжелых случаях суд выносит постановление о необходимости обязательного лечения либо в больнице общего типа, либо в специальной психиатрической больнице. Но это постановление не является наказанием за совершенное уголовное преступление, хотя и выполняется репрессивным аппаратом, а рассматривается как «обязательная административная мера»⁹. Освобождение от наказания за уголовное преступление, совершенное человеком в состоянии невменяемости, пропагандистски выдается советским правосудием за торжество гуманности и законности.

Но оставим пропаганду в стороне. Как относится к возможности заменить каторжный труд в лагере госпитализацией в психиатрическую больницу сам преступник, уголовный преступник?

Ну и что, думает он, «дураки едят пироги». Ему не нужно будет работать, в его пайке всегда будут молоко и мясо, вместо вертухаев будут врачи, постель будет чистой, он сможет лежать на койке и дремать, медсестры все сделают, у него будет право на посылки и свидания почти каждый день, и он сможет прогуливаться в саду... Есть только одно неудобство в этой

⁹В п.1 ст.403 УПК РСФСР говорится: «Принудительные меры медицинского характера, не будучи мерами уголовного наказания, тем не менее являются мерами государственного принуждения и могут назначаться только судом».

жизни: он должен будет каждый день пить таблетки, от которых он будет спать или хуже... но такова цена небесных благ. Однако можно найти выход. Можно научиться обманывать сестер и разными ухищрениями не глотать таблетки... например, положив под язык и потом выплюнув, выкашлянув. В спецбольницах это, конечно, труднее, но ведь не лагерь же, не лагерь и не тюрьма! Для человека, которому грозит большой срок, искушение довольно сильное: пять лет больницы или пятнадцать в лагере?..

Признание невменяемым дает, кроме того, множество преимуществ после освобождения. Опять же — не надо работать, так как пребывание в больнице влечет за собой получение инвалидности второй или третьей группы с пособием на жизнь. Опять же — не несет уголовной ответственности за последующие преступления... Эй вы, дураки! Идемте позабавимся! Можно пить и гулять в свое удовольствие, сумасшедшему все простится. Говорят даже, что сумасшедший не обязан платить за причиненный ущерб, если у него нет официального опекуна.

И у каждого преступника есть это заветное желание — быть признанным невменяемым. Я расспрашивал многих в лагере и тюрьме, и из тех, с кем разговаривал, кто знал о существовании психиатрического рая, не было ни одного, кто бы о нем не мечтал.

Но как туда попасть? Русский человек, может быть, и не очень умен, но у него есть практическая жилка, особая сметливость, если к тому же дело касается попадания в рай. Здесь много возможностей для изобретательного ума. Как всегда, на первом месте врожденные актеры, за ними — дурной пример заразителен — идут их последователи, подражатели. Большая часть арестованного уголовного мира борется с остервенением за место в рядах психов.

Естественно, отбор тоже безжалостен. Гонка жестока. Едва ли один из десятка стартующих пересекает линию финиша. Мои цифры основаны на моих наблюдениях и не могут служить документом, но я предполагаю, что 85 или даже 90% направленных в психбольницы душевно здоровы. 95% людей из 4-го отделения института имени Сербского были здоровы. А из тех, кто был признан больным, может быть, только 25 или 30 % были действительно больными. Руководство справляется с этой проблемой очень просто: оно закрывает глаза на нее, афишируя при этом на весь мир свою «гуманность». Для высоких чинов, сидящих в кабинетах, даже удобно такое положение: процент душевнобольных увеличивается из года в год, и это соответственно увеличивает материальные возможности стационаров; но главное — процент преступности по статистике падает. «В социалистическом обществе не может быть социальной основы для нарушения закона» — такой лозунг на красном полотне длиной три метра висел во Владимирской следственной тюрьме №1. Если нарушения законов и преступность все-таки еще суще-

ствуют, то они лишь «пережитки капитализма»... или следствие психиатрического заболевания. Судя по недостатку мест в психбольницах, больных в стране слишком много. Леонид Плющ свидетельствует, что в Днепропетровской спецпсихбольнице на трех человек приходится две кровати¹⁰. Даже в институте Сербского в отделениях №2 и №6 я видел людей, спавших на полу из-за недостатка коек. Не беда, проблему коек можно решить, внося коррективы в соответствующие экономические планы. На совещании работников здравоохранения, на котором я присутствовал, докладчик говорил, что в 9-й решающей пятилетке самая отстающая у нас — психиатрическая коечная сеть — будет увеличена на столько-то десятков тысяч коек. Не помню точной цифры, но из всех видов специализированных коек по психиатрическим планировался самый большой прирост.

Что не сделаешь, если надо процент преступности по стране снижать!

Первая ночь. Комиссия

Первая ночь в психиатрическом «зазеркалье», несмотря на уют и негу в постели (кровать мягкая, на панцирной сетке), прошла тяжело. Болела голова, было очень жарко, снились какие-то кошмары. Кажется, я даже кричал во сне, чем, конечно, порадовал, как верным симптомом моей «свихнутости», стерегущую нянюку. В довершение всего я напрочь забыл, где нахожусь, и каково же было мое изумление, когда, открыв глаза, увидел чье-то остекленевшее, оскаленное в совершенно идиотской улыбке лицо, смотревшее на меня из-под одеяла с соседней койки. Лицо вдруг ослабло, подмигнуло мне по-свойски, а из-под одеяла высунулась желтая рука и поманила меня скрюченным пальцем. Было от чего вздрогнуть! Оказалось, что Петя Римейка, пожалуй, единственный в палате настоящий дурачок, перебрался, пока я спал, ко мне в соседни вместо Ногтееда, и теперь, проснувшись, почтил меня своим вниманием.

Когда подошел завтрак, мне было велено не есть, дабы по приходу сестры сдать кровь на анализ. Поразмыслив, я решил, хоть и занимал прежде позицию полного неучастия в следствии, в некоторых, чисто медицинских исследованиях, видимо, ожидавших мою персону, какое-то участие все-таки принять. Мало ли что. Ведь в этом перевернутом мире буквально все может срабатывать против меня. И мой отказ может быть запросто расценен как симптом психической аномалии. Нет уж, максимум здравомыслия с моей стороны. Конечно, без уступок в вопросах принципиальных и этических. Говорить с врачами буду осторожно, не отменяя основной линии поведения.

¹⁰На пресс-конференции в Париже, вскоре после его выезда на Запад, Леонид Плющ заявил: «Ужас психушки охватил меня с самого начала. Я оказался третьим человеком на две койки, сдвинутые вместе» (февраль 1976г.).

А медицину некоторую, если она не будет связана с насилием и с введением «в меня», в организм, каких-нибудь веществ, можно и принять. И я пошел в кабинет к медсестре.

Анализ оказался самым безобидным, обычным: кольнули палец иголкой, взяли кровь стеклянным капилляром. РОЭ, лейкоциты...

Вместе со мной сдавал кровь паренек, знакомый по вчерашнему бутырскому боксу. Улыбнулся дружески, Володя Выскочков, москвич, сидевший за какую-то драку. Позже он был признан невменяемым, я об этом расскажу. Оказывается, из всего «воронка» только мы с ним попали вместе, остальных растолкали по другим отделениям. Значит, наше отделение — шизофреническое? Так надо полагать?

После анализа и запоздавшего завтрака за мной пришла медсестра. Как и за Выскочковым. Оказалось, на комиссию: все новоприбывшие на следующий день представляются врачам на утреннем их собрании. Вслед за сестрой я вошел в просторную комнату, где стояли два перпендикулярно уставленных стола по центру и несколько — вдоль стен. За «командным» столом восседал мужчина лет 55-ти, с удлинённым лицом и свисающим, как гороховый стручок, печальным семитским носом. Волосы полуседые, вьющиеся, к губам будто приклеена приторная, нарочитая улыбка. Это был, как выяснилось позже, заведующий отделением Яков Лазаревич Ландау.

За другими столами, невпопад, сидело человек 10–12 мужчин и женщин в белых халатах. Кто-то стоял, прислонившись к окну. Мне предложили сесть на стоявший поодаль, справа от председательствующего стул.

— Виктор Александрович, — обратился ко мне он, — Вы давно пишете стихи?

— Прежде чем отвечать на вопросы, я хочу сделать заявление.

— Пожалуйста.

— Вчера, по прибытии в институт, у меня изъяли тетради с записями, ручку и несколько необходимых книг, в частности Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Я хочу знать, когда все это будет возвращено.

— Вот они! — мужчина за столом хлопнул ладонью по лежавшей перед ним стопочке. — Тетради. Они будут возвращены вам, как только я их просмотрю. Ручку тоже вернем, если разрешит лечащий врач. Вам будет назначен врач, понимаете? Ну, а что касается книг — придется немного подождать. Не положено у нас. Ну потерпите, Вы совсем недолго пробудете здесь.

— Сколько же?

— Ну-у, это зависит от Вас. Вообще у нас срок месяц. Но, может быть, и быстрее, если будете помогать нам.

— Что значит помогать? Никому и ничем я помогать не собираюсь.

— Ну, Вы уж в буквальном смысле! Помогать — значит отвечать на во-

просы, рассказывать о себе лечащему врачу. Вот Вы так и не ответили на мой вопрос: давно ли пишете стихи?

— Давно. Хотя распространяться на эту тему не буду.

— Скажите, а Вы печатались, издавались?

— Я же сказал, что говорить об этом не буду.

— Ну хорошо. Скажите, а Вы знаете, зачем Вас сюда привезли?

— Разумеется. Государство пытается Вашими руками упрятать меня в сумасшедший дом.

— А Вы себя считаете здоровым?

— Разумеется.

— Виктор Александрович! А вот в деле записано, что ваша мама страдала душевным расстройством, лежала в психбольнице. Это действительно так?

— Не знаю, что записано в моем деле. Кто об этом показывает? Подтверждено ли это справками? Моя мать пропала без вести свыше 30 лет назад, мне в это время было 10 лет. Действительно, в новой семье моего отца, где я воспитывался, бытовала версия о том, что мама психически больная, мне это внушали. Но я думаю, что это всего лишь легенда, созданная отцом, чтобы оправдать свой уход от мамы, и его новой женой, моей мачехой. (На этот вопрос я отвечал подробно, так как пункта о душевной болезни матери больше всего боялся. Хотя она, как я считаю, и не была больна, но отец мог показать такое. Ну а столь крупный «козырь», как «отягощенная наследственность», был бы хорошим поводом для признания меня психически больным.)

— Ну хорошо, Виктор Александрович. Можете идти. Завтра Вы уже будете знать своего врача. Он побеседует с Вами.

Я спросил, можно ли мне послать письмо своей теще, живущей в Москве, — с просьбой передать мне фруктов.

— Можно, — сказал мой собеседник. — Напишите и сдайте сестре.

— Но оно пойдет через следователя? Это очень долго. (Мне хотелось как можно быстрее дать знать своим, что я уже в институте Сербского.)

— Нет, если письмо коротенькое, мы сами просмотрим и отправим.

А что касается письма теще — Ландау обманул, не моргнув глазом. Теща его, хоть оно и состояло из двух строчек, не получила. Письмо было направлено следователю, который вручил его моей жене... год спустя.

Структура института

Я мало что могу сказать о структуре института в целом. Официально он называется Центральным научно-исследовательским институтом судебной психиатрии имени профессора Сербского (ЦНИИСП) и находится в ведении Министерства здравоохранения СССР. Однако у него есть и другой,

негласный, опекун, чей титул не обозначен на вывеске, — Министерство внутренних дел СССР. Не знаю, в каких конкретных формах осуществляется его влияние, но вот одна из них: весь персонал института имеет воинские звания войск МВД, врачи — офицерские, сестры и няньки — видимо, сержантские. Уже одно это обстоятельство (подкрепленное, конечно, соответствующей зарплатой) повышает бдительность и усердие медицинского персонала, усиливает его ретивость по части выполнения государственных задач.

Во главе института стоит действительный член Академии медицинских наук профессор Морозов. Не знаю его воинского звания по таблице МВД, но судя по тому, что его подчиненный, по сути всего лишь зав.отделением, Лунц, как говорили осведомленные люди, имеет звание генерала-лейтенанта, звание Морозова должно быть не малым.

Кроме Министерства внутренних дел, институт Сербского не может не курироваться — через Прокуратуру СССР — и Министерством юстиции. Забегают в него, конечно, или позванивают (это касается как раз 4-го отделения) и из всевластного КГБ.

В составе института, насколько я знаю (видел на картонке с номерами телефонов в сестринской комнате), семь отделений. Одно из них (5-е) — женское. Еще знаю, что 7-е отделение — алкогольное (алкогольные психозы), оно как-то особняком стоит и помещается в отдельном здании во дворе и работает будто бы только на московских алкоголиков.

Что касается остальных отделений, то я совершенно не знаю, по какому принципу они выделены. Предполагаю, что по характеру заболеваний. Наше, 4-е отделение, очевидно, шизофреническое. Ну, может быть, более узко: вялотекущая шизофрения, у нее ведь по советской классификации много различных форм. Это можно предположить хотя бы потому, что через 4-е отделение проходили все «политические», а у них, как правило, всегда «шизофрения».

Какие же ярлыки на 1, 2, 3 и 6-м отделениях? Ну, может быть, где-то «паранойя», где-то «маниакально-депрессивные психозы», где-то «эпилепсия»... Или другие варианты шизофрении, скажем, «галлюцинаторно-бредовая» или «кататоническая»?.. Не знаю, не бывал. Но из нашей партии, приведенной из Бутырок 15 января (около 25 человек), многие попали (знаю, так как встречал кое-кого, в частности Лисью Шапку, в рентгенкабинете) в 1 и 2-е отделения. Они самые большие в институте (в первом, кажется, около ста человек) и скученные, это там спят в коридорах и на полу.

А всего в институте пребывает одновременно около 300 человек.

В каждом отделении свои врачи, сестры, няньки. Даже дежурные прапорщики (один человек на отделение, сменяются каждые восемь часов), хоть они подчиняются своему начальству, в отделениях одни и те же.

Кроме основных своих задач — практической экспертизы и науки — институт является учебной базой как для студентов, так и для различных семинаров, курсов усовершенствования и т.п., причем сразу по двум ведомствам — медицинскому и юридическому. В институте где-то есть большой, на 150–200 человек, зал, в котором проводятся лекции с демонстрацией больных.

К сожалению, там я тоже не бывал.

«Шейх-антикоммунист»

«Шейх-антикоммунист» отнесся ко мне с интересом. Естественно, и я потянулся к нему и при первой же возможности заговорил. Обычные тюремные расспросы: когда, за что? Он отвечал охотно и вроде бы искренне. Да, статья 190-прим, «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». «За что же?» — «За стихи...» — «За стихи?» Это уже совсем интересно, ведь я и сам вроде бы «за стихи».

Правда, дальнейший рассказ несколько разочаровал меня. Виктор Матвеев, как оказалось, был из уголовного лагеря, уже со сроком. Получил пять лет, кажется, за обыкновенную кражу и уже отсидел год или два. А потом — расклеил по лагерю листовки с политическими стихами... Вот и взяли, стали новое дело крутить. Что-то говорил он мне о тяжелых условиях в лагере под Ростовом, о том, что мочи не было... Прямо не признался, но я понял, что этими листовками он, попросту говоря, «закосил» — чтобы признали больным, невменяемым, «дураком», — все-то легче, мол, будет в психушке, чем в лагере. То есть налицо был именно «политикан», как представили мне его в палате, — уголовник, рядящийся под политического. О таких людях, густонаполняющих сегодняшние наши политические лагеря в Мордовии и Перми, писал еще Анатолий Марченко в своей книге «Мои показания».

Нужно сказать, что уголовники довольно часто идут на совершение действий, называемых у нас политическими преступлениями. (Власти, правда, даже эти «преступления» называют уголовными. Раз по уголовному кодексу судятся — все уголовные. А политических заключенных у нас, де, и в помине нет. Это еще с легкой руки, то бишь, с верткого языка Н.С.Хрущева так повелось.) Чаще всего это именно листовки. Что же движет этими людьми? Конечно, бывают случаи, что они действуют и, так сказать, из чистых побуждений (процент недовольных если не основами власти, то существующими порядками, законами и т.д. среди населения уголовных тюрем и лагерей очень высок, «коммунистов» здесь ненавидят и всячески отъединяют себя от них; вождей, не исключая и Ленина, высмеивают). Но в большинстве случаев такими «политическими» руководят чисто конъюнктурные сообра-

жения. По неразумению, конечно. Среди уголовников почему-то бытует убеждение (мне лично не раз приходилось с этим встречаться в разных камерах и в лагере), что в политических лагерях — условия лучше. И кормежка будто бы «от пуза», и передачи чаще, и работать — по желанию, и, очень характерное: вертухаи, мол, все «на Вы...» Ну а что касается возможности попасть в «дурдом» вместо лагеря, то, как я уже говорил, редко найдешь уголовника, который не мечтал бы о таком счастье. И так же широко распространено в уголовной среде убеждение (видимо, не обосновательное), что вернейший путь к этому счастью лежит именно через политическое «преступление». «Толкнуть политическую речугу» на суде или листовки разбросать — это практикуется часто. И увы, дает желаемые результаты! Ведь не знает, дурачье, что не в вольную психушку на полгода будет выписан квиток, а в «спецуху», без срока, да еще с галоперидолом в неразумный мозг.

Идут! Вот и Виктор Матвеев соблазнился. И очень хотел, как сразу же, в первом разговоре со мной признался, чтобы сочли его невменяемым.

— Да зачем Вам это, Витя? Вы же здоровый человек! Вы представляете свое будущее?

А он все твердит не очень уверенно:

— Вы не знаете, как в лагере плохо... Столько лет еще... Хуже не будет. В больнице же кормят... Молоко дают...

Войдя в доверительность, он мне и стихи свои почитал. Что-то про Новочеркасские расстрелы, про кровь под танками... Жутковатые и ...хорошие, чисто поэтически, стихи, жалею, что не осталось в памяти даже строчки.

Талантливый, просто очень талантливый (и несчастный) человек сидел передо мной — этот «шейх» из Ростова-на-Дону. Чистое, выразительное и нервное, отражающее внутреннее раздумье лицо, глаза тоскующие, живые.

Мы говорили долго. Об искусстве, стихах. Я спросил, кто его любимый поэт. Он назвал ...Эдуарда Асадова! Конечно, он почти не знал лучших имен, даже о Блоке ведал только по «Двенадцати». Я стал рассказывать о Гумилеве и Ахматовой, он слушал жадно, хватко. Во время разговора (мы сидели рядышком за столом) я несколько раз ловил на себе внимательный взгляд няньки. Подумал: надо бы не слишком демонстрировать свой интерес к одностатейникам. Но как это было сделать, если тянуло пуще неволи? В течение дня мы еще несколько раз заговаривали с Виктором, и каждый раз на нас останавливался регистрирующий взор няньки. В остальное время «Шейх» лихо играл с Бесковым, Лукашкиным и еще какими-то зеками из другой палаты в «покер» и «квадрат» (азартные игры с помощью костей домино, в которые играют в тюрьмах на сигареты или под какой-нибудь другой интерес), а иногда, как мне удалось заметить, что-то писал, лежа на койке.

Пробовал я заговорить и с другим моим одностатейником — Иваном Ра-

диковым. Кстати, к концу второго дня я перебрался на освободившуюся рядом с ним кровать, и мы, таким образом, стали непосредственными соседями. Но Иван поначалу отнесся ко мне недружелюбно.

— А Вы давно уже сидите, Ваня? — спросил я его, и он вдруг отрезал грубо:

— А тебе какое дело?

Прошло еще день-два. Однажды ко мне подошел «Шейх» с радостно поблескивающими глазами. В руках у него был лист бумаги.

— Я вот здесь стихи написал...

— Прочтите, Витя.

Он прочел. Хорошие, ладные стихи о том, что... вот если бы во время парада повернуть танки на мавзолей, — и он рухнул бы как карточный домик.

— Хорошо, — сказал я. — Только зачем Вам такие стихи?

И опять буквально затылок мне прожег сыскной, ощупывающий взгляд няньки.

Утро следующего дня (кажется, это было 18 января), после завтрака, я лежал в постели с книгой в руках. В углу, через четыре койки от меня, так же лежал Виктор. Что-то писал. Вдруг к нему подошла Анна Николаевна, дородная наша нянька, и что-то сказала. Виктор вскочил, оделся и вышел вместе с нею. Никто не придавал этому значения, так как вызывали — на процедуры, на беседы — походя. Но минут через 10–15 вновь вошла нянька и стала собирать белье с постели Матвеева, скатывать матрац. А меня вдруг холодом обдуло: из-под матраца нянька вытащила знакомый лист — это же на нем записал Виктор свое стихотворение о мавзолее! Мелькнула мысль: броситься — вырвать из рук!.. Но она уже положила лист в карман халата. Тут и медсестра подошла, и нянька передала ей листок, сказала что-то. Ушли обе, унося постель и незадачливое творение поэта-антикоммуниста...

Больше я не видел Виктора и ничего не знаю о его судьбе. Куда он был переведен? Видимо, в другое отделение, т.к. своего месячного срока он еще не пролежал и выписной комиссии у него не было. Но почему? Не было ли связи с его исчезновением и внимательным надзором няnek за нашими беседами? И мне стало жутковато: уж не на мне ли чума? не из-за меня ли убран из отделения этот человек?

Один из отделенческих всезнаек, Витя Яцунов, с которым мы лежали после в другой палате, сказал мне позже, что перевод Виктора Матвеева был вызван материалистическими причинами. Он будто бы крупно проиграл в домино, а платить было нечем, и палатная камарилья грозила расправой. Вот Матвеев и попросил, мол, врачей перевести его от греха подальше.

Не знаю. Я плохо постиг механику уголовного мира, в частности те пружины, что правили в этих палатах. Но представляя все-таки характер Вик-

тора Матвеева, я не думаю, что это было так, как рассказал Яцунов. К тому же эти взгляды... Нечем, конечно, мне это доказать, подтвердить, но лично меня такой «ненаучный» инструмент как интуиция почти никогда в жизни не подводил.

Где-то сейчас мой горемычный «Шейх»? Не поврежу ли ему этими страницами? Ведь он так хотел признания невеняемым, а я раскрываю его здравость. Но ведь и слепоту же! И полную невинность в «политических» деяниях. Ну зачем ему, за что еще этот крест? Вся его «политическая» вина — в том, что молока больничного захотелось. А его ли это вина?

Как ни тягостен был ростовский лагерь, а все-таки лучше бы ему в него вернуться. Прошел бы срок, ведь, кажется, в 1977-м ему уже освобождаться.

Я желаю — всей болью сердца своего — добра и легкого пути этому человеку.

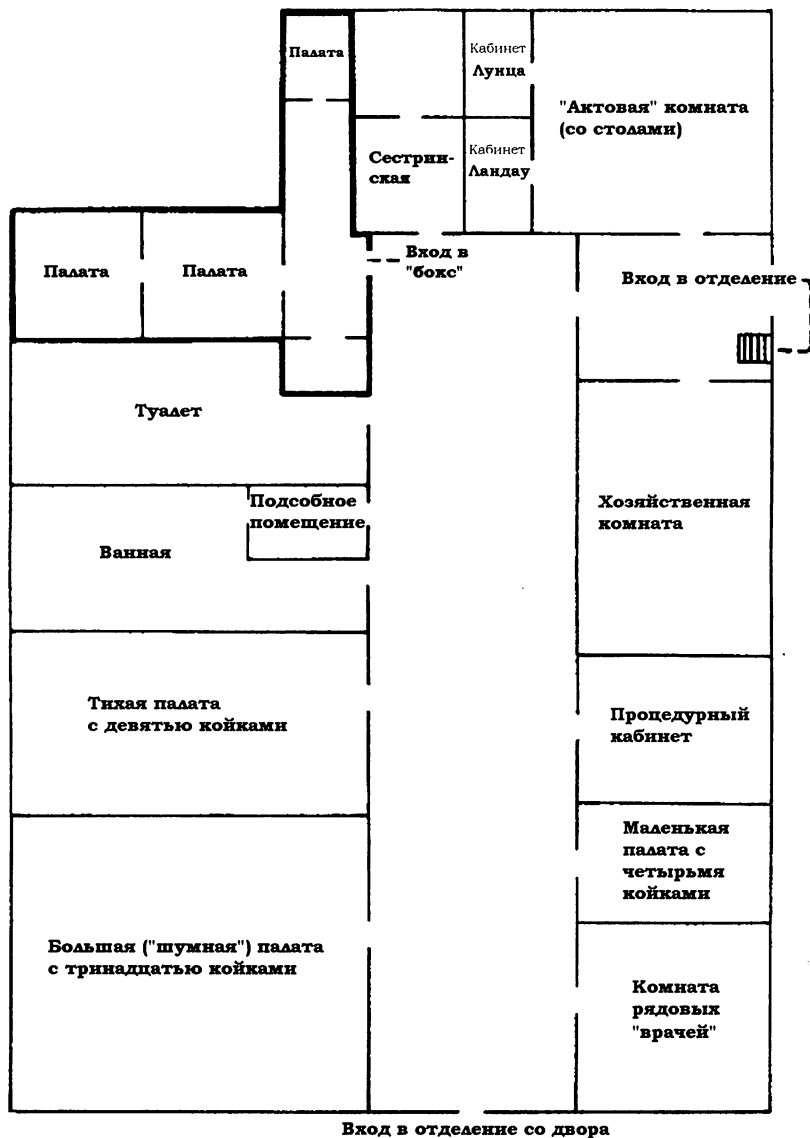
Структура отделения

4-е отделение института расположено на 3 этаже здания, в левом его крыле, если смотреть со стороны Кропоткинского переулка. Должен оговориться: я не прошел по всему институту, а там, где и побывал — прошел не как свободный гость. Поэтому могу ошибиться, чисто геометрически: что-то перепутать, чего-то не учесть, не достроить в своем плане.

Отделение занимает около 15 комнат, пять из которых отведены под палаты. При этом общих палат — три, но в составе отделения есть еще «спецотделение» (мы называли его «боксом» или «изолятором»), состоящее из двух, даже трех небольших комнаток с отдельным, своим, умывальником и туалетом. Этот «бокс» предназначен для заключенных с т.н. «особо опасными» статьями. В нем обычно лежат и все «политические», т.е. идущие по статьям 64–70 («особо опасные государственные преступления»). Что касается статьи 190-1 («распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»), то с ней обычно держат в общих палатах, хотя, если есть возможность, могут упрятать и в «боксы». Так, в «боксе», да еще в отдельной, одиночной, палате находился в 1969 году генерал П.Г.Григоренко. В «боксе» же лежал в 1971 году арестованный за «Самиздат» Р.Т.Фин.

Лежащие в «боксе» с остальным, «общим», контингентом не общаются, выходить оттуда запрещено. Там у них все свое. В каждой палате, хоть одна из них всего на пять коек, а вторая — на четыре, по своей надзорной няньке.

Я почему-то был помещен в общую палату. Друзья предполагают, что это было сделано для того, чтобы не дать мне возможности встретиться с кем-то из лежавших в тот момент в «боксе». Или наоборот. Предполагают даже, что в «боксе» в это время находился С.Пирогов из г.Архангельска.



План 4-го отделения института им. Сербского,
нарисованный Виктором Некипеловым в 1974 г.

Все возможно. Ведь в 1969 году в общую палату точно так же поместили Владимира Гершуни — безусловно потому, что в «боксе» в это время лежал П.Г. Григоренко.

Общих палат, как я уже сказал, три. Две большие находятся рядом (см. прилагаемый план), третья, маленькая, стиснутая между комнатой врачей и процедурной, — напротив, через коридор. Большая палата имеет площадь около 55–60 кв.м. В ней установлено 13 коек — в два ряда вдоль стен: по 6 и 7 коек. Койки металлические, с панцирными сетками, выкрашены в белый цвет. В проходе между койками — деревянный стол с приставленными к нему лавками, за которым обедают (помещается 8–10 человек), а в свободное время играют в шахматы, домино. Палата еще называется «шумной», так как только в ней есть радио (динамик у двери) и дозволяются игры. В палате два довольно больших окна, выходящие во двор института, на прогулочные дворики. Из окон виден находящийся напротив института (Кропоткинский переулок, 22) пятиэтажный жилой дом. Окна без решеток, правда, с толстыми «пуленепробиваемыми» стеклами из оргстекла, часть которых, сантиметров на 50 от подоконников, закрашена белой краской.

Вторая палата, на 9 коек, находится рядом, дальше по коридору. Эта палата затемнена (единственное окно полностью закрашено белой краской), в нее помещают тех, кто не любит света. Кровати стоят в один ряд, только одна — у противоположной стены, возле окна. У той же стены небольшой прямоугольный стол. Я в этой палате не лежал. Но могу сказать, что изо всех трех она самая холодная, кроме того в ней постоянно ощущался какой-то неприятный плесенный запах от стен. Третья палата, что располагалась напротив двух первых, через коридор, была самая маленькая (всего на четыре койки) и уютная.

Вход в отделение (со средней лестницы, т.е. со двора) расположен по центру коридора, возле угловой, большой, палаты. Через эту дверь носили пищу из кухни, а нас водили на рентген, в физиокабинет, к окулисту, в психологическую лабораторию. Кажется, с нами смыкалось (т.е. находилось в правом торце этажа) 3-е отделение.

С другой стороны коридор упирался в сестринскую комнату. В ней стояло несколько шкафов и два холодильника, в которых хранились скоропортящиеся продукты зеков: масло, колбаса и др. Примерно за полчаса до завтрака и ужина сестра ставила в дверях легкий столик и выдавала подходившим зекам нужные продукты. При этом она сама нарезала ломтиками, как в гастрономе, колбасу, сыр, наливала в кружку мед или сгущенное молоко.

Из сестринской комнаты видна была вторая, побольше, в ней размещались старшая сестра и, кажется, медстатистик.

В этом же конце коридора, справа от сестринской комнаты, если стать к ней лицом, был вход в служебную прихожую, где стояли шкафы, в которых

раздевались сотрудники. Здесь же было какое-то помещение для няnek, а также хозяйственная комната (или комнаты), где разливали пищу, хранили посуду и т.д. Из этой же прихожей вела дверь в большую врачебную комнату (я называю ее «актовой»). Здесь же был второй выход из отделения, ведущий к торцу института, к его парадному крыльцу. Им пользовались сотрудники, через него также вводили прибывающих и выводили отбывших срок обследования зеков.

В «актовой» комнате размещались врачи, здесь же проводились комиссии. Это была большая, метров сорока квадратных комната, очень светлая. По центру стоял длинный, крытый сукном стол, за которым обычно располагалась «комиссия», перпендикулярно к нему — стол председательствующего. Справа у стены стояло два врачебных стола, один из них — Любови Иосифовны Табаковой. Прямо от входа, у окон, стояло еще три стола, за левым из них всегда сидела М.Ф.Тальце.

Из «актовой» комнаты, слева, были двери в два небольших, отгороженных некапитальной стеной кабинетика. Левый из них принадлежал Я.Л.Ландау, правый — Д.Р.Лунцу.

Должен сказать, что среди врачей отделения строго соблюдалась табель о рангах. В «актовой» комнате размещались ведущие врачи — более опытные, с учеными степенями. Рядовые врачи квартировали отдельно, в небольшой комнате возле общих палат.

Из коридора была еще дверь в процедурную — там выдавали лекарства, делали инъекции, брали кровь на анализ и т.д. Ведала этой комнатой дежурная сестра.

В коридоре напротив туалета и ванной комнаты стоял длинный деревянный шкаф, в котором зеки хранили непортящиеся продукты (сахар, печенье, иногда яблоки), а также сигареты и папиросы.

По коридору денно и ночью шагал дежурный прапорщик в надетом вверх мундира белом халате.

Общие палаты не запирались, двери их всегда были открыты. Нам разрешалось — в любое время, кроме тихого часа и обхода врачей — переходить из палаты в палату, заходить к медсестре в процедурную, находиться в курилке (в туалетной). Между прочим, последнее было привилегией 4-го отделения, в других отделениях, как рассказывали, перекуры устраивались каждый час на 10 минут, и прапорщик зажигал спички строго по часам. У нас же можно было подойти к нему и попросить огонька в любое время, даже ночью.

В дверях — на уровне глаз — были небольшие, 10 x 15 см, застекленные окошечки (тоже из оргстекла), но двери, повторяю, кроме как в ванную и туалетную, не затворялись.

Строго охранялся «бокс». Подходить к нему, тем более заглядывать через

окошечко, не позволялось.

В двух наших палатах, кроме маленькой, всегда находились надзорные няньки, они сидели обычно возле дверей на стоявших там противопожарных ящиках и зорко следили за происходящим в палате. Ночью, конечно, отключались — клевали носом, даже похрапывали. В маленькой палате няньки не было, но дежурившие в двух больших, бросая взгляд через плечо, когда сидели на своих ящиках, могли обзирать и эту комнату.

В помещениях был паркетный, ежедневно натираемый до блеска пол. Отопление — паровое, в отделении было очень тепло.

4 отделение, как я понимаю, было «шизофреническим» или чем-то вроде. Среди зеков шли разговоры, что в прошлом оно было «политическим», а теперь, якобы ввиду уменьшения числа таких заключенных, для них хватает и «бокса».

В последнем утверждении — что число политзаключенных у нас в последние годы уменьшилось — я, конечно, весьма сомневаюсь.

Первая беседа с врачом. Любовь Иосифовна

Обследование мое шло вяло. Сводили на осмотр к терапевту. Расспросы о жалобах, кровяное давление, фонендоскоп... Назначила по моей просьбе корвалол (давило сердце последние недели) и — без всякой просьбы и каких бы то к тому показаний, просто, видать, из сердобольства — белый хлеб... Сводили к окулисту — выписала новые очки... Все как в записной районной больничке. Еще сделали рентгеновский снимок черепа. Это вроде бы и ни к чему, но спорить я не стал. Ведь никаких опухолей в голове, слава Богу, у меня нет. Правда, когда через несколько дней мне предложили сделать снимок повторно (дескать, было «повеление»), я отказался. Не настаивали.

18 января состоялась встреча с лечащим врачом. Беседа проходила в процедурной комнате. Я уже не удивился, увидев перед собой именно ту женщину, что рассматривала меня на комиссии два дня назад.

Представилась как Любовь Иосифовна. На мой вопрос о фамилии ответила, что это «не обязательно». Красивое, но восковое от косметических втираний лицо. Рыжеватые, пышные волосы. Губы пухлые, чувственные, выдающие вместе с тем обидчивость и слезливость. Руки полные, круглые, но без маникюра и украшений. Вообще, на всем ее облике, несмотря на косметику и модную одежду, лежала печать усталости и какой-то домашней заезженности. Думаю, не ошибусь, если скажу, что у Любви Иосифовны много домашних хлопот и не все благополучно в семье.

Встреча наша длилась около 30 минут. Боюсь, что я разочаровал собеседницу. Прежде чем отвечать на ее вопросы, я попросил ответить на два моих: достаточным ли основанием для направления на экспертизу является,

с ее точки зрения, неподтвержденный никакими документами слух о болезни моей матери и можно ли ознакомиться с заключением амбулаторной психиатрической экспертизы.

На первый вопрос Любовь Иосифовна лишь пожалала плечами, дескать, а почему бы и нет, а второй вопрос отвергла: нет, нельзя. Я сказал, что в таком случае ни на какие вопросы отвечать не буду.

— Ну что Вы, Виктор Александрович! Так не годится. Разве Вы мне не доверяете?

Несмотря на то, что я молчал, она все-таки пыталась меня расспрашивать. В основном это были вопросы по «аномальным» фактам моей биографии, видимо, аккуратно стасованным следователем в дело.

— Как Вы относились к своей мачехе?

— Почему разошлись с первой женой?

— Вот у Вас конфликт был с городскими властями в 1971 году в Солнечногорске, не можете ли о нем подробнее рассказать?..

Прежде чем задать очередной вопрос, она заглядывала в лежащее перед нею дело. (Эх, мне бы туда заглянуть!) По всему было видно, что она плохо подготовилась к разговору.

— Ну ладно, — махнула она напоследок рукой, посмотрев на часы. — Мы еще не один раз будем беседовать с Вами...

Из дневника. 21 января 1974 г.

«Истекает первая декада чистой, сытой, но в общем-то утомительной по своей монотонности жизни в экспертизном «раю». Проявились, индивидуализировались лица палатных сожителей, врачей и охранных няnek. Как всегда, в палате около трети молчунов, столько же говорунов, остальные — средостение... Производит впечатление Саша Могильный, 20-летний юноша из города Миллерово. Мягкие, нежные, южные (украинские) черты лица, густые черные брови, застенчивость и какая-то внутренняя освещенность. Много читает, любит Джека Лондона, приключения, хотел бы прочесть Александра Дюма (В.Бесков говорит: «Дюму»). По моему совету стал читать «Очарованного странника» Лескова, остался очень доволен. С восторженными восклицаниями прочел «Леди Макбет из Мценского уезда», но на этом, увы, остановился, т.к. следующих рассказов, лишенных некоторой «дю-тективности» сюжета, уже не осилил...»

Экспертизные зеки

Видимо, настало время рассказать несколько о населении 4 отделения — тех подопытных кроликах, на которых совершенствовалась в январе-марте

1974 года свой научный прогресс советская судебная психиатрия...

Всего нас было в трех общих палатах 26 душ: 13, 9 и 4 человека. Сюда не входят несколько (видимо, 4–5) человек, находившихся в «боксе», куда мы доступа не имели.

В моей, «шумной», палате собралась в основном молодежь, мальчишки 18–20 лет. Сказав «говоруну», я, конечно, употребил самый мягкий вариант, фактически это были обычные, беспринципные и наглые тюремные сорви-головы, демонстрировавшие к тому же и свое психическое буйство. Могли ни с того ни с сего затеять самую дикую возню, расшвырять подушки, ударить любого, смахнуть со стола домино или запустить в потолок кружкой. Няньки обычно хлопотали вокруг таких, приговаривая:

— Ну что ты, Вова (Петя, Коля)?.. Ну чего тебе хочется? Успокойся, милый, успокойся!

Таковыми были уже упомянутые мною Володя Бесков, Миша Лукашкин, Витя Яцунов. Еще Сергей Песочников из другой палаты и прибывший несколько позже меня Володя Лукьянов по кличке «Чипполино».

В палате лежало несколько «реактивщиков» — зеков, симулировавших полное отключение от всего земного. Такое состояние в психиатрии называют реактивом. Они не вступали ни с кем в контакты, часами лежали на койках, уставясь в одну точку. Некоторые и не особенно скрывали, что «косят» (или «гонят») — в отсутствие няньки и на перекурах разговаривали, смеялись. Конечно, все ели исправно, проявляя здесь полную разумность. Например, чернобородый «ребе»-убийца, так напугавший меня при первом соприкосновении (фамилии его не помню), был большим сластолюбом. При каждой закупке продуктов (2–3 раза в неделю дозволялось через старшую сестру покупать на личные деньги нужные продукты в магазинах) он заказывал пирожные, шоколад и другие сладости. Иногда ему приносили целый торт. Тогда нянька расстилала прямо у него на груди клеенку, ставила на нее картонку, и он ел торт, все так же безучастно уставясь в потолок и блаженно причмокивая. Белые крошки застревали в его густой бороде.

Кроме Чернобородого и Ногтеда в палате лежал реактивщик Кузнецов по кличке «Барон». Это был какой-то профессиональный уголовник с татуированными волосатыми руками и неприятным исподлобным взглядом. «Тюлькогон» он был отменный. По палате ходил медленно, шаркающим шагом, то и дело оглядываясь. А если слышал, что сзади кто-то идет, — испуганно отскакивал в сторону и пропускал идущего, оглядывая его блуждающим, безумным взором. Ел он только в постели, вяло, смешивая первое со вторым, подолгу задерживая у открытого рта поднесенную ложку. Тем не менее, он был признан здоровым и отвезен в Бутырку. Витя Яцунов говорил мне по секрету, что «Барон» до привоза в институт был избалован и бит в камере как сексот.

Позже в палату был помещен реактивщик со странной фамилией Тумор. Это был невысокий, светлоголовый, курносый паренек лет 20-ти. Поначалу он тоже лежал безучастно на кровати (причем возле самой няньки), жутковато выставив из-под одеяла — всегда в одной и той же позе — кисть руки, но был разоблачен (я еще расскажу об этом) в симуляции и снял реактив, превратившись в обычного развязного и говорливого парня.

В полуреактивной дремоте находился и некий Геннадий Асташичев — рыжий, преглупый мужчина 42 лет из Мурманской области. Этот разговаривал, общался, но всегда как бы в полусне. Хотя охотно рассказывал (бесконечно и нудно) историю своей семейной драмы (застал жену с любовником, огрел ее по голове... банкой с вареньем; за это и был посажен), клял свою судьбу, жалел детей. С врачами и персоналом разговаривал подобострастно, непременно приговаривая: «Я же нездоров... У меня с головой не в порядке... Мне врач сказал, что я в больнице полежу... Вы же меня признаете?» На мой взгляд, это был тоже совершенно здоровый психически человек, разве что недоразвитый умственно, глупый. Дожил же до 42 лет, имея, как он говорил, «одни благодарности по работе». Он, однако, был признан невменяемым.

Еще более инфантильной личностью был упоминаемый мною Петя Римейка. Настоящее его имя было Петер Римейкас. Он был литовец, из Вильнюса, сидел за разбой (кого-то ограбил с дружками). Петя был незлобивый, очень контактный (не говорил, но выслушивал каждого, улыбаясь и поддакивая забавно: «О да! О да! Уй-уй! О да!») человечек лет 25-ти. В отделении он натирал полы, в банные дни мыл другим зекам спины, вообще охотно помогал нянькам. Даже мыл — за какое-то угощение — полы в кабинете врачей и процедурной. Петю в палате не обижали, всех завораживал он своей очаровательной улыбкой безобидного деревенского дурачка. В институте Петя лежал давно, чуть ли не четвертый месяц. Ходил на т.н. трудотерапию — клеить конверты.

В маленькой палате напротив нашей лежал любопытный персонаж — полярный летчик Векслер. Москвич, еврей. Это был мужчина 53-54 лет, но очень моложавый, с военной выправкой. Полуседая, мифистофольская бородка, острые, умные глаза. По утрам Векслер делал продолжительную зарядку в коридоре — играл обнаженным до пояса мускулистым торсом, приседал, выгибался. Все остальное время что-то писал, сидя за круглым столом в своей палате, возле него были разложены толстые стопки бумаги. Все говорили уважительно, снижая голос до торжественного полусшепота, что он «пишет роман». Летчик был явно на привилегированном положении в отделении. Я заметил, что у него была, ею он и писал открыто, шариковая ручка.

В одной палате с летчиком лежал высокий парень лет 25-ти с огненно-

рыжей бородой, очень застенчивый и славный — Саша Соколов. Он уже второй раз находился в институте.

(Маленькое отступление. Я вообще заметил, что на экспертизе было очень много рыжих... Уж не существует ли где инструкция, обязывающая следователей повнимательней приглядываться, проявляя психиатрическое сомнение, именно к рыжеволосым? Кстати, в тюрьме, в лагере процент рыжих выше, чем на воле, раза в 3-4. Не говорит ли это о том, что рыжеволосые чисто генетически более склонны к правонарушительству? Может быть, это давно уже установлено, не знаю, основываюсь лишь на личном наблюдении.)

С ними же лежал, это был самый пожилой человек в отделении, 69-летний Александр Михайлович Никуйко — высокий седовласый и почти глухой старик из Волгограда, посаженный за убийство жены. Никуйко очень хорошо играл в шахматы (у него был 1 разряд), и мы потом часто сталкивались с ним за шахматной доской чуть больше. Как и с Сашей Соколовым. Ниже я расскажу о них обоих чуть больше. Как и о Борисе Евсеевиче Каменецком — 50-летнем пухленьком, рыхлом человеке из нашей палаты, служившем объектом постоянных насмешек как для зеков, так и для няnek. О, об этом человеке стоит рассказать подробнее!..

Распорядок дня

Условия жизни в институте, его распорядок ничем не напоминали о том, что мы находимся в тюрьме. Если бы не ключи в руках у няnek, да не вертухай, хоть и в белом халате, слоняющийся по коридору, наша обитель вполне сошла бы за обыкновенную больничку. Нет, даже не за обыкновенную, здесь и порядка было больше, и чистоты, и кормежка разнообразней и вкусней.

Ах, как после тюрьмы это было здорово! Паркетный пол, кровати пружинные, простор, никто не курит, не смердит. А главное, няньки — ласково, как родным:

- Миша, молочка еще хочешь?
- Голубчик, давай на процедуру!

И это, конечно, было сказкой после вертухайского, привычного: «Эй, ты, мать твою-растак!».

Подъем в отделении играли в 7 утра. Т.е. никаких громких звуков не было, за плечо никто не тряс, просто включали в палатах свет, и все вставали. Собственно, возня начиналась несколько раньше: это няньки будили натиральщиков паркета, и те принимались за работу, начиная с коридора.

Но можно было и не вставать. Няньки заставляли, конечно, заправить постель, коли ты уже встал, но если лежишь — не придирались.

После подъема многие делали — каждый сам по себе, по углам — физзарядку, я в том числе. Умывались. Мыло и другие туалетные принадлежности (зубная щетка, порошок) хранились в шкафу у медсестры, нужно было их через нянюку получить, а после умывания сдать обратно. Ну, а у кого не было? Умывались без мыла, местную медицину собственно гигиена мало беспокоила. У медсестры же получали на день расческу, а «очкарики» — очки, на ночь все это сдавалось.

В восемь утра завтракали. Перед завтраком дежурная сестра выдавала желающим (у кого они, конечно, были) личные продукты. На завтрак обычно была каша (рисовая, пшенная, манная, овсяная из «геркулеса») и кофе, правда суррогатный, желудевый, но на молоке, давали также кубик масла, граммов 15–20, три кусочка пиленого сахара, а иногда еще несколько ломтиков сыра или колбасы, надо сказать, вполне приличной, типа краковской. Хлеб приносили нарезанный ломтями, граммов по 200 на брата, причем доставалось и по кусочку белого, а тем, кому было назначено терапевтом, выдавали токмо белый.

После завтрака курильщики мчались на перекур. Подгоняли медленно жующих, т.к. вертухай не давал огня, пока не будут сданы все ложки. За ложками следили ревностно, как если бы они были из серебра, иногда, сбиваясь в счете, поднимали переполох.

К этому времени уже приходили дневные сестры, в коридоре начинали мелькать врачи. Менялись дежурные сестры и нянюки. Ровно в 9 часов у врачей начиналась «пятиминутка», после которой, примерно в половине десятого, устраивался обход. В дни комиссий, обычно по понедельникам и вторникам, обход оттягивался на полчаса-час.

После обхода зеки занимались кто чем хотел. Тех, что ходили на трудотерапию, вертухай уводил на работу. Остальные читали, бродили по отделению, в «шумной» палате стучали в домино. Не разрешалось только лежать в одежде поверх постели; если ты хотел лечь, нужно было разобрать постель. В это же время водили, кого нужно, на различные исследования и беседы.

В час дня был обед. Всегда из трех блюд. На первое — борщ, рассольник, гороховый суп. Однажды дали прекрасную уху из нотатении. На второе бывали котлеты, тефтели или сардельки, иногда лапшевник с мясом или солянка. На третье — полкружки компота из сухофруктов.

После обеда устраивался «тихий час» на 1,5 часа. На это время выключалось радио, не разрешалось бродить по палатам и курить. Лично я эти полтора часа всегда спал.

После «тихого часа» продолжалось то же, что до обеда, то есть битие баклуш. Часам к пяти вечера возвращались зеки с трудотерапии.

Ужин устраивался в шесть вечера, и перед ним тоже можно было по-

лучить личные продукты. Подавали опять кашу, картофельное пюре с селедкой или винегрет, а также чай или молоко. Натиральщикам паркета и всем, заслужившим это какой-нибудь работой на благо отделения, во время ужина выдавалось дополнительное питание в виде молока, оставшихся от обеда второго или компота.

Перед отбоем вечером раздавали лекарства, для этого сами зеки шли в процедурную.

В 22 часа в палатах гасили свет — отбой. Курильщики, правда, если вертухай попадался добрый и давал огонька, еще долго скользили по одному в уборную. Но постепенно все засыпали. Скрывалась куда-то (укладывалась на покой в сестринской) медсестра. Задремывали в неудобных позах, сидя на своих пожарных ящиках, няньки. Один вертухай долго еще поскрипывал сапогами по коридору, но в конце концов и он прикимаривал на табуретке, прислонившись к шкафам напротив туалета.

Институт дураков засыпал...

Учитель из Ташкента

Этот человек привлек меня не только близостью возраста, но и своей затравленностью, подчиненным положением в палате. Травили его все: и зеки, и няньки. То и дело слышалось:

— Каменецкий, жрать хочешь? (зеки)

— Каменецкий, это ты опять сухари разложил? (няньки)

Круглолицый, полный, одышливый мужчина лет 50-ти. Лицо красное, размазанное, с восточными чертами, и я сначала принял его за узбека. Тем более, что он был из Ташкента и говорил по-русски с акцентом. Позже выяснилось, что он не узбек, а еврей, и даже не какой-нибудь бухарский, а украинский, из-под Житомира. Но ребенком был увезен в Среднюю Азию и там «обузбечился».

Я пошел на сближение с ним сразу после непонятого исчезновения Виктора Матвеева. Конечно, было бы интересней общаться с одностатейником, но Иван Радиков отпугивал своей недружелюбной настороженностью. Каменецкий же привлекал интеллигентным видом, он был мягок и общителен, всем своим обликом он как бы просил у меня дружбы и защиты.

— Сразу видно, что Вы из интеллигенции и образованный человек, — говорил он мне. — Здесь ведь такие люди, такие люди! Я так устал, и в тюрьме, и здесь.

Я спросил, за что он сидит.

— Ах, не спрашивайте меня! Это такая травма! Такая травма! Я до сих пор не могу прийти в себя...

Меня потряс его рассказ о тех жутких условиях, в которых он сидел в КПЗ в Бухаре. То была старая эмирская тюрьма с камерами-ямами, где надзиратель разглядывал заключенных сверху через решетку и опускал им, как зверям, пищу на палке. Потом Каменецкого везли в наручниках на самолете в Москву... В Бутырке его так травили в камере, что он пытался повеситься, оторвав полосу от матрацного мешка. Сняли... Ему и здесь, в институте, в отличие от остальных зеков, была выдана одна простыня вместо двух. Видимо, в деле имелась пометка о склонности к руконаложению. Поэтому в отделении Каменецкому не выдавали даже таких предметов, как расческа или очки, и он брал их «на прокат» у меня. Еще няньки постоянно следили, чтобы полотенце у него не валялось на койке или под подушкой, как у других зеков, а висело расправленным на спинке кровати, т.е. все время находилось на виду.

В конце концов, отвечая на мои осторожные расспросы, Каменецкий рассказал, что сидит за убийство. Он работал завучем в производственно-техническом училище в Ташкенте. Однажды у него в гостях был директор училища. Выпивали. Директор каким-то образом оскорбил жену Каменецкого, тот, вскипев, схватил подвернувшийся молоток и...

— Это было ужасно, Виктор Александрович! Я до сих пор не могу вспоминать без дрожи. Это такая травма!..

И он, закрывая лицо ладонями, трясся в беззвучном плаче.

Молодые зеки весело травили Каменецкого. Просто потому, видимо, что видели его мягкотелость, незащитность. И потому, что он был старше и слабее их. Ну и, конечно, за то, что был еврей... Видимо, изголодавшись в тюрьме, он ел теперь много и жадно, а после обеда подбирал оставшиеся на столе кусочки белого хлеба и сушил их на отопительных батареях. Мне он объяснял это тем, что подсушенный хлеб менее кислотен, а у него больной желудок. Каменецкий собирал сухарики в мешочек и по ночам грыз их в постели, потешая зеков. И няньки ругали его постоянно, сбрасывая хлеб с радиаторов.

А еще Каменецкий храпел... Ох, горе в тюрьме храпящим! И хлестнут сагогом по лицу, и рот тряпкой заткнут...

А еще у бедняги (больной желудок, возраст, малоподвижная жизнь) постоянно пучило кишечник и по ночам непроизвольно отходили газы... Этого зеки и вовсе не могли пережить. Требовали убрать его — в коридор, «к параше». А няньки, вместо того, чтобы заступиться, подогревали страсти.

— Ну ты и пер... сегодня, Каменецкий! — громогласно, на всю палату заявила однажды Анна Николаевна, нянька, работавшая в институте свыше 30 лет. — Так пер..., что меня ветром чуть из палаты не выносило!

Кажется, я был единственный, кто попытался защитить Каменецкого. Хоть и не могу сказать, что удачно. Он, однако, с тех пор проникся ко мне

особенным расположением.

Борис Евсеевич страстно хотел признания его невменяемым. «Не вынесу я лагеря, Виктор Александрович», — признавался он мне. Его лечащим врачом был некий Геннадий Николаевич, молодой человек с выпученными, рачьиными глазами и свисающей сзади богемной гривкой волос. Каменецкий лебезил перед ним невозможно. Встречаясь в коридоре, например, сгибался в поясным поклоне:

— Здравствуйте, Геннадий Николаевич!

— Здравствуйте, Каменецкий. Только мы с Вами, кажется, сегодня уже здоровались.

— Ну и что же, Геннадий Николаевич. Мне просто приятно с Вами еще раз поздороваться.

Он мог и в третий раз отвесить поклон. Порой так и стоял в коридоре — специально караулил врача.

Каменецкий знал о моей статье, относился сочувственно. Рассказывал, что в Ташкенте, где лежал на предварительном обследовании в гражданской психбольнице, уже встречался с одним инакомыслящим, журналистом, совершенно здоровым человеком, конечно. Сочувствовал и ему, и мне.

Однажды вдруг спросил, знаю ли я, когда и в связи с чем была введена в Кодекс статья 190-1, раньше ведь была одна 70-я. Я не знал точно.

— Это в связи с крымскими татарами... Их надо было судить за различные мирные выступления, демонстрации, а 70-я статья уж больно жесткая, до семи лет. Вы слышали что-нибудь о крымских татарах, Виктор Александрович?

Господи, я ли не слышал! Но ему сказал:

— Да не очень, Борис Евсеевич. Что они там натворили?

И он ... начал просвещать меня. И о крымских татарах рассказал, об их борьбе за возвращение в Крым, и о судах над ними. И о генерале Григоренко, их отважном заступнике, помещенном за свои выступления в спецпсихбольницу в г. Черняховске. Я только диву давался осведомленности моего собеседника. И конечно, сам потянулся навстречу. Вскоре мы уже смело говорили о Солженицыне, Сахарове, о т.н. демократическом движении в СССР. Круг наших бесед был широк. После того, как я узнал, что Каменецкий — еврей и сочувствует движению евреев за выезд в Израиль, я проникся к нему чуть ли не братскими чувствами. И конечно, был все более и более откровенен. В свою очередь и он, узнав, что я, как выразился бы Витя Яцунов, «волоку» в проблемах еврейства, оттаял беспредельно.

Так и говорили мы — взахлеб, радуясь друг другу, говорили, прогуливаясь по коридору или сидя попеременно то на его, то на моей койке. Говорили о ленинградском процессе самолетчиков, и уже я, призабыв осторожность, демонстрировал ему свою осведомленность, пересказывал информа-

цию «Хроники текущих событий», содержание последнего слова обвиняемых... Сколько раз во время этих бесед ловил я опять на себе ошупывающие взгляды нянек. Иногда мне казалось даже, что няньки стараются подслушивать, и видя это, мы обрывали разговор.

— Как хорошо, что я встретил Вас, — говорил мне Борис Евсеевич. — Что значит образованный культурный человек!

Как-то Каменецкий попросил у меня бумаги и карандаш... Геннадий Николаевич предложил ему изложить письменно всю историю преступления, все подробности, детали. Охарактеризовать убитого... Рассказать, какие козни он раньше строил Каменецкому, а теперь его родственники будто бы строят жене... Каменецкий охотно взялся за эту работу и несколько дней прилежно, закусив губу, корпел за столом над листом бумаги. Исписанные листы клал в карман халата и так ходил по отделению. Мне очень хотелось прочесть его произведение, но попросить было неловко, не решился.

Однажды после обеда (это было числа 23-24 января) Каменецкого вдруг вызвали к врачу. Он вышел, а через несколько минут вдруг повторилось то же, что с Виктором Матвеевым: вошла нянька и стала собирать постель моего нового друга. А меня будто обухом по голове ударило, уж на этот раз сомнений быть не могло: из-за меня! И что за рок такой: со вторым человеком сдруживаюсь — второго отнимают тут же, открыто, грубо.

Правда, Каменецкий, в отличие от Матвеева, не исчез бесследно, он просто был перемещен в спецотделение («бокс»), в котором содержались какие-то особо опасные, как утверждала местная молва, — политические, изменники, иностранцы...

А вот я ошибся! Уж не говорю, что опозорился, опростоволосился, сел в калошу... Очень не хочется, просто стыдно рассказывать. Но, наверное, надо.

Причиной перевода Каменецкого был, оказывается, был тот же беспокойный «дух», «злой мальчик» отделения — Витя Яцунов. Однажды, стоя рядом с Каменецким у столика сестры, выдающей продукты зеков, хранящиеся в холодильнике, он увидел торчащие из кармана соседа листы бумаги. Я же говорил, что Каменецкий писал свою исповедь для Геннадия Николаевича. Ну, Яцунов и подшутил — вытащил листки незаметно. Естественно, прочел в палате. И что бы вы подумали?

Фантастика!

Вовсе никакой не учитель был наш бедный, испуганный, затравленный Борис Евсеевич Каменецкий. И никого он не убивал, не было никакой 102 статьи... Ничего не было. Все сочинил, напел мне в доверчивые уши этот простоватый и жалкий на вид человек.

Б.Е.Каменецкий ни много ни мало был **старшим следователем по особо важным делам** прокуратуры Узбекской ССР! Сел (бывают и та-

кие фантастические случаи) за... клевету на Главного прокурора Узбекской ССР! Нет, не та «клевета», что у меня, здесь имеется в виду «клевета» частная, клевета как оскорбление личности, та, что наказывается по 130-й статье УК РСФСР. Что ж, видимо, не поделили что-то два паука, и тот, который поглавнее, упек малого.

А я ему — как единомышленнику — о Сахарове вздохнул! Сколько «Хроник» пересказал! В скольких преступлениях власти изобличил! И ведь находил понимание, сочувствие, сам слушал — про евреев да татар. А! Понимаю теперь, откуда он про последних знал так много. Всюду все татарские процессы в основном проходили в Ташкенте и других узбекских городах. Может быть, этот самый Каменецкий их и организовывал? Следствия вел? А может, и к делу самого П.Г.Григоренко руку приложил? Его ведь в Ташкенте арестовали и там мучили полгода...

Прокурору, следователю, вообще всякому «менту» — в тюрьме не жизнь. Понятно, что боясь расправы со стороны уголовников, он и сочинил душераздирающую историю об убийстве начальника, оскорбившего жену. И все развешивали уши, я в том числе. А когда выкрали у него разоблачающие листки, он, естественно, тут же сообщил об этом врачам (может быть, любимцу своему — Геннадию Николаевичу), и те незамедлительно убрали Каменецкого из палаты, спасая от «гнева народного».

Вот такая история приключилась со мной... «Ведь бывают же такие промашки» — как поет Александр Галич.

А все-таки. Как доверительно слушал меня Борис Евсеевич! А уж как сомкнулись на родственной почве сионизма!.. Ей-Богу, не часто такого собеседника найдешь!

Битва за авторучку

Ежедневно, в начале десятого утра, как я уже рассказывал, проходил врачебный обход. По понедельникам, после комиссии, его вел Яков Лазаревич Ландау, в другие дни, по очереди, — рядовые врачи, хотя Ландау тоже присутствовал. Ведущий обход шел по палатам первым, останавливаясь возле кроватей и задавая заключенным вопросы. Остальные врачи стояли в сторонке. Процедура была чисто формальная, консилиумов и споров у постелей не возникало. Обычно всем задавались одни и те же вопросы:

— Ну, как дела?

Или:

— Жалобы есть?

Поскольку не разъяснялось, какие жалобы имеются в виду: медицинские (на здоровье) или режимные, — я всегда задавал один и тот же вопрос:

— Когда мне будет выдана авторучка?

Сначала Ландау, прикрываясь своей фальшивой улыбочкой, вежливо разъяснял, что это — по усмотрению лечащего врача. (Л.И. Табакова почему-то бывала на обходах редко.) Потом стал говорить лаконично, почти без улыбки:

— Посмотрим.

Наконец однажды (укатали-таки Сивку крутые горки!), совершенно рассвирепев, метнул в меня ненавидящий взгляд и отрезал:

— Что Вы заладили со своей ручкой? Не положено у нас! И не просите!

На следующий день я, тем не менее, повторил свою жалобу. На дурацкий, стандартный вопрос «Жалобы есть?» — такой же ответ. Ландау изничтожая меня зрительно, вновь прохрипел, что не положено.

— Никому!

Тогда я заметил (каюсь, с моей стороны это был «недозволенный» прием, но не подумал — сорвался), что вот в палате напротив, у Векслера, есть же ручка, и ничего не случается.

Бедный летчик, подвел я его! Я-то думал, что, глядя на него, они и мне **разрешат**, но они пошли по линии наименьшего сопротивления: отобрали ручку и у Векслера.

Да простит он мне этот невольный подвох. Хочу надеяться, что роман из жизни полярных летчиков от этого не пострадал.

Таким был Я.Л. Ландау со своей резиновой улыбочкой. Я и в дальнейшем забавлялся тем, что сдергивал ее с него периодически. Однажды вновь довел его до вспышки — тем, что требовал шахматы в «тихую» палату, в которую меня перевели из «шумной».

— Игры положены только в шумной палате.

— Но я же о шахматах говорю. Уж более тихой игры не придумаешь. Ваш отказ попросту не логичен.

Эх и скинулся же наш невозмутимый Яков Лазаревич! Аж кулаком хлестнул по столу в нашей «тихой» палате.

— Что Вы мне все о логике! Не положено, и все тут! И не ищите логики в запретах! Здесь Вам не санаторий!

О, да. При отсутствии аргументов в тюрьме всегда звучит эта железная фраза: «Здесь Вам не санаторий!»

Это было 31 января 1974 года. Но и весь февраль я допекал Ландау новым стереотипом:

— Когда будет прогулка?

Этим требованием доводил и самого Лунца. Следует сказать, что прогулки не было ни разу, в зимнее время она в институте будто бы не проводится. Одежды не хватает и дворы под снегом... Добились все-таки! Горжусь: не без моего участия.

Но это позже. Пока стоял январь... Важным и приятным событием стал

для меня переход в маленькую, «тихую» палату, осуществившийся 25 января, на место выбывшего летчика. Он все-таки был признан душевнобольным и выбыл в какую-то иную обитель. Кажется, он хотел этого. Ну дай-то Бог, может быть, там он, тихий трудяга, и допишет свой роман. Еще, чего доброго, и издаст. Ладно, тогда почитаем. А пока я с удовольствием занял его место за удобным круглым столом.

Быт. Глава 1

Одним из достоинств жизни в экспертизном «раю» было полное отсутствие идеологического насилия. Ну, в виде какой-нибудь воспитательной или партийно-политической работы, от которой обычно скулы сводит в любом советском учреждении, включая лагерь. Никто не пытался нас пропагандировать, просвещать, улучшать, никому вообще не было дела до того, чем занимаются обследуемые зеки. И это было прекрасно.

Была, правда, т.н. «трудотерапия» (слово-то какое, вдумайтесь!), на которую ходили по желанию и разрешению врача. Работали где-то в подвале — клеили конверты, там был специальный небольшой цех. Начиналась работа в 9 часов утра и длилась, с часовым перерывом на обед, во время которого все возвращались в отделение, часов до четырех. Нормы выработки не было, поэтому работали спустя рукава, лишь бы занять время. Зеки ходили на трудотерапию для развлечения, чтобы с инструкторшей — вольнонаемной женщиной — поболтать, да и друг с другом, ведь там встречались обследуемые из разных отделений. Отводил на работу и снимал с нее дежурный прапорщик, при съеме он подвергал всех работающих обыску. Из 4 отделения ходило на работу всего 3–4 человека, и за исполненную работу в конце недели им выдавали символическое вознаграждение в виде сигарет или конфет.

Неработавшие занимались в течение дня играми, чтением, разговорами... В отделении были домино, шахматы и шашки, после игры все сдавалось сестре. Наиболее популярной игрой было домино, молодежь играла «под интерес» — на сигареты, в крайнем случае расплата производилась щелчками в лоб.

С чтением обстояло хуже. Один раз в неделю в отделение приходила библиотекаря — какая-то очень несерьезная и мало разбирающаяся в библиотечном деле рыжеволосая женщина. Она приносила в ящичке или под мышкой десяток-полтора книг. Это, как правило, была примитивная массовая литература «про войну» и «про любовь». Книги от частого употребления были истрепаны, во многих не хватало листов. Мне стоило больших трудов уговорить библиотекаря принести — из общеинститутского фонда (для зеков там какие-то свои полки) «Былое и думы» Герцена. Все-таки

принесла — прекрасное издание 1937–39 гг., пятитомник. Книги были такие чистенькие, незахватанные, словно с 1937 года и до меня никто их с полки так и не снял. На обходе Ландау как-то взял со стола томик — повертел в руках.

— Гм, Герцена читаете? Ну и как? Интересно?

— Да, интересно.

— А я вот не читал... Это что, из нашей библиотеки? Надо будет взять после Вас...

Вот такое ... единение. Не знаю уж, взял ли. Почитайте, Яков Лазаревич, Герцена стоит Вам почитать.

А библиотекаряша приносила мне еще Короленко «Историю моего современника». Тоже из какого-то нечитаемого фонда. Между прочим, я узнал от нее, что книги некоторых авторов не выдаются экспертизным, не могут быть выданы, по специальной инструкции. В числе запрещенных в психиатрическом мире писателей: Достоевский, Кафка, Фолкнер. Считается, должно быть, что эти книги могут повредить не очень крепкий мозг, так что ли?

Сколько стоит виза в Китай?

И все же не замкнул мои уста, не отбил охоты к общению промах с Б.Е.Каменецким. Не может быть человек один. Потеряв двоих, я примкнул, хоть и опять ненадолго, к третьему. Впрочем, дружбы «надолго» почти не бывает в стране Гулаг. Хоть и бывает она «накрепко».

Ваня (Иван Федорович) Радиков был второй «политикан», встретившийся мне в этих стенах. Правда, здесь был другой, более близкий мне случай.

В отличие от красавца «Шейха», Ваня Радиков не блистал внешностью. Среднего роста, сутулый. Лицо асимметричное, скуластое, «казацкого» типа, глаза неяркие, цвета пивной бутылки и склонные к прищуре. Он был малоразговорчив, не ярок, интеллектом не блистал. Не писал стихов. И тем не менее я привязался к нему, прикипел, крепко и навсегда, к его несложной, но горестной доле...

Ваню привезли в Москву из Ростова-на-Дону. Это был простой рабочий человек 33–34 лет, шофер из станицы Вешенской — той самой, где живет в своих каменных хорамах на берегу Тихого Дона хваленейший «писатель земли русской» М.А.Шолохов. Ваня был очень одиноким и обиженным жизнью человеком. Круглым сиротой. Родителей своих не помнил, они погибли в 1941 году, в первый месяц войны. Ваня воспитывался у чужих, неласковых людей, затем в детдоме, и сиротское детство определило его психологию. Он был углубленным мизантропом и беспредельным женоненавистником. Сиротство, в конце концов, определило и его «преступление», донельзя наив-

ное, бесхитростное, просто смешное, не приведи оно к тому жуткому порогу, на котором оказался Ваня.

Будучи по какому-то поводу обижен властями (кажется, не дали квартиры), он написал откровенное и, надо полагать, сердитое письмо своему знаменитому земляку и депутату — М.А.Шолохову. Выложил в нем все, конечно, что думает. Так, накипевший, бесхитростный «анализ». О том, что государство наше, вопреки словесам, плохо относится к рабочим... О том, что сирот обижают, детей погибших фронтовиков... Что никакой не социализм у нас, а самый настоящий капитализм. Ну и т.п. В выражениях, естественно, не стеснялся, писал «по-рабочему», «по-пролетарски». Что-то позволил себе в адрес покойной В.А.Фурцевой (женщин он особенно не любил)...

Такое же письмо послал в ЦК КПСС, а в конце письма просил дать ему визу на выезд ... в Китай, где, мол, истинно рабоче-крестьянское государство, где рабочих ценят.

Вот и все «преступление» Ивана Радикова. Такое невозможное, скажете вы, смешное? Нет, возможное! В нашей стране возможное.

Вынужденный властями к написанию своих отчаянных заявлений, он был арестован — этими же властями — за них, как за «распространение сведений, порочащих советский общественный и государственный строй»... А потом? Потом **внутреннее убеждение** следователя, что не может нормальный, здоровый советский человек быть недовольным нашим хваленым социалистическим раем и уж тем более просить визу в какой-то там ревизионистский Китай, зашвырнуло Ваню в институт им. Сербского.

Вот так мы и встретились. И сдружились понемногу. На первых порах он отнесся ко мне недоверчиво, настороженно. Ваня ни от кого не получал передач, но когда я попытался угостить его дружески (кусочком колбасы, яблоком, вареным яйцом), он энергично отклонил угощение: «Зачем это? Не надо!» Однако постепенно преодолел недоверчивость и смущение, даже привязался ко мне — трогательно и верно.

Мсия к этому времени перевели в маленькую палату. Ваня заходил часто, брал у меня книги. «Былое и думы» Герцена, правда, не осилил — быстро вернул, а «Историю моего современника» — томик о тюремных скитаниях Короленко — держал долго. Иногда, видя, что я занят, Ваня со словами: «Можно я посижу здесь?» — садился с краешку ко мне на кровать и подолгу сидел молча, не мешая, только поглядывая на меня тихими и преданными глазами.

Еще мы играли в шахматы. Ваня играл хорошо, у него были развиты комбинаторные способности. Мы часто разговаривали на самые разные темы. Я рассказывал ему о Герцене и Короленко, расспрашивал о жизни. Кругозор Вани не был широк, но он тянулся к знанию, к книге, слушал с интересом. Ваня говорил, что окончил 10 классов вечерней школы, даже

пытался поступать в институт (кажется, Ростовский политехнический), но неудачно.

Много времени я потратил на то, чтобы развеять или хотя бы поколебать его женоненавистнические заблуждения. Кажется, это мне все-таки удалось. Ну почему так распорядилась жизнь, что не познал Ваня Радиков до своих 33 лет ни материнской ласки, ни женской верности и любви?

Прослышав, что я литератор, и усиленно ревнуя меня к новому отделенческому поэту, одолевавшего всех стихами — Игорю Розовскому, Ваня однажды, страшно смущаясь, протянул мне свой опус, сочиненный тут же, в минуту молчания на краешке моей кровати. Этот листок и сейчас у меня — единственная ниточка, связующая меня с Ваней Радиковым, — его маленький дар, его легкое, молчаливое прикосновение — он делал так иногда — к рукаву моего халата...

На лужайке, на полянке,
Девки водят хоровод,
Завлекают парня Петю,
Чтоб пропел кукаревод.

...Ох девчата, ох девчата!
Несерьезный вы народ.
Легкомысленно живете,
По-куриному поете.

Простим Ване поэтическую примитивность этих строк, примем их с улыбкой. Да он ведь и не рядился в поэты. Кстати, даже в этом отрывке сумел он выразить свой антагонизм к прекрасному полу.

Конечно, общаясь с Ваней, наблюдая за ним, я ни на минуту не сомневался в его психическом здравомыслии. В отличие от Матвеева, он не хотел, даже боялся признания его невменяемым. Тем не менее, в институте Сербского, на моих глазах, он был признан психически больным, социально опасным и обречен, таким образом, на бессрочное заточение в спецпсихбольницу.

И это было еще одним преступлением советской медицины, советской судебной системы, советского государственного тоталитаризма. Случай с И.Радиковым должен лечь темным пятном и на совесть его сановного земляка — М.А.Шолохова. Ведь Ваня Радиков лично **ему** писал свое письмо, просил, как у депутата, за которого, видимо, не один раз голосовал, заступничества и поддержки. И что же вышло? Я уж не говорю о том, что этот крик о помощи остался безответным. Естественен и такой вопрос: а каким образом это **частное** письмо оказалось в следственном деле Ивана Радикова? Уж не сам ли «писатель земли русской» отволлок? Впрочем, с

него станет. Вспомнил его известное выступление по поводу процесса над А. Синявским и Ю. Даниэлем в 1966 году. Так чего уж тут говорить?

Быт. Глава 2

Питание в институте, как я уже не раз отмечал, было вполне приличным, а после тюремной баланды казалось просто санаторным. Говорили, что на каждого обследуемого отпускается государственной казной 1 рубль 50 копеек в день, и это действительно санаторная норма, если сравнить ее с тюремной и лагерной: 30–40 копеек.

Обычно первую неделю после прибытия в институт зеки ели жадно, охотно брали добавку, набрасывались на белый хлеб и молоко. Потом наступало насыщение. Все круглели заметно. Когда я после месяца сытной жизни в институте взвесился на весах в сестринской комнате, то не поверил своим глазам — я прибыл в весе на 12 килограммов! Правда, здесь большую роль играли еще передачи.

В институте Сербского они разрешались не раз в месяц, как в следственном изоляторе, а еженедельно, по воскресеньям. Передать можно было пять килограммов продуктов, при этом дозволялось (опять-таки в отличие от тюрьмы) передавать свежие фрукты, мед, шоколад, вареные яйца (10 штук), сгущенное молоко (2 банки) и т.д.

В отличие от тюрьмы, в институте не было «ларька», однако, если у заключенных были деньги (переводились родственниками прямо в институт), можно было закупать продукты в московских магазинах. Этим занималась старшая сестра отделения, раза два в неделю она обходила зеков и составляла список-заказ. Можно было купить любую еду, вплоть до мороженого. Чернобородый реактивщик из большой палаты обычно заказывал торт. Пару раз и я воспользовался этим «сервисом»: соскучившись по острым блюдам, заказал ... соленые огурцы и острый «Индийский» соус. Принесли. Однажды обнаглел и... заказал бутылку «Кагора». Конечно, отказали, хоть я и пытался доказать, что это лечебное вино.

В общем, дни, проведенные в институте Сербского, были для меня самыми гастрономическими; как часто я вспоминал о них потом за миской лагерной баланды!

Дозволялись в институте и свидания. Мне, конечно, нет, но многим зекам-москвичам разрешали, даже минуя следователей. Т.е. запросто врачи разрешали, у них на это были свои, тоже диагностические, соображения. Свидания давали по воскресеньям, на полчаса.

Еще несколько слов о других условиях нашего быта.

Одежду мы носили больничную: пижаму, тапочки. У некоторых были больничные халаты из фланели, однако на всех их не хватало. Баня устраи-

валась раз в 10 дней, тогда же меняли нательное и постельное белье. Мылись мы в ваннах (в отделении их было две) под присмотром няньки. Назначали одного зека, который тер желающим спины. Обычно эти занимался Петя Римейка.

Один раз в неделю, по субботам, в отделение приходил прапорщик-брадобрей, который безопасной бритвой очень быстро и ловко голил наши подбородки. Тот же Петя Римейка взбивал в кружке мыло, мы вставали в очередь, и пока прапорщик брил одного, Петя намыливал следующего.

И это тоже было в порядке вещей, т.к. доверить «психу» бритву, даже безопасную, конечно, было страшно и невозможно.

...Я стою в очереди. Мыльная пена, подсыхая, стягивает щеки. Машет бритвой голяр, сопит Петя, шлепая кисточкой по щекам очередного клиента. Я думаю, как все продуманно, споро, ритмично, и какое разделение труда, какие сложнейшие обязанности у этих прапорщиков: один — брадобрей, другой — «Прометей»! Чем не жизнь для молодых мужиков с красными шеями!

Окно в мир

После гремящего целый день над ухом радиорупора, стукатени домино и диких выходов моих молодых сопалатников, новая палата оказалась раем. Здесь было всего четыре койки, причем моя находилась на очень удобном месте, в углу у окна. Рядом с моей кроватью, примыкая к окну, стоял круглый стол, покрытый клеенкой. За ним мы и обедали. Палата выходила на южную сторону, и в полдень в окно весело било слепящее, клонившееся на весну солнце. Снаружи, с правой стороны окна, по стене здания проходил какой-то четырехугольный желоб — не то мусоропровод, не то старый, не работавший грузовой лифт. В этом желобе гнездились голуби, и в палате было слышно их приглушенное, добревшее с каждым днем от весны и солнца воркование.

Из окна был виден кусочек институтского двора, уголок какой-то одноэтажной постройки. Кажется, это были классы для охранявших институт прапорщиков. Закрываю это потому, что в будние дни по утрам мундиры, поглядывая на часы, валили туда толпой. Шли с папочками. В 9 часов все смолкало, и только минут через 50 они высыпали на крыльцо для недолгого перекура. И снова попадали на час.

Еще из окна были хорошо видны тонкие нити сигнализации, натянутые на кронштейнах вдоль стены. Это на случай побега. Снаружи, со стороны улицы, их, должно быть, и не видать.

Над стеной, а вернее за нею возвышался огромный жилой дом. Позже, уже после освобождения, специально съездил — узнал, что это и была та

25-этажная стеклобетонная громадина, на которой висит табличка «Смоленский бульвар, 6-8». До этого дома от моего окна было метров 250-300 и иногда, если в каких-то квартирах горел свет, а шторы не были задвинуты, можно было видеть, как в китайском театре теней, двигавшиеся за стеклами силуэты.

Но чаще я смотрел не на окна, а на узкую щель-арку, зиявшую между верхним краем институтской стены и «брюхом» дома. Там был виден кусочек московской улицы — текучей, шумной — кусочек Садового кольца! Мелькали автомашины, троллейбусные дуги, фигурки пешеходов. Видна была даже противоположная сторона улицы с окнами-витринами, какие-то вывески (ателье по Смоленскому бульвару, 7). Чужая, прекрасная и недостижимая жизнь плыла за невымытыми стеклами моей темницы! Вот какой-то незадачливый пешеход ступил на проезжую часть — хотел перебежать, но тут: пж-ж-ик! — лавина машин! — отскочил в сторону! — окатило беднягу размытым снегом из-под колес!

О, в этот прекрасный калейдоскоп хотелось смотреть вечно! И сколько раз я думал: а вдруг и моя Нина — в дни передач — проходила мимо, вдруг и ее фигурка мелькала в размытом окне? Да конечно проходила. Может, и ее взгляд скользнул — ничего не отметив — по далекому, темному пятнышку моего окна? И от этого еще острее была тоска и четче — сознание фантастичности, ирреальности всего, что происходило со мною.

...С тех пор брожу, незримый, рядом с вами,

А вы зачем-то ищете меня!

Звенят щеглы, в чащобе стонут совы,

Кузнечики стрекочут на лугу...

— Ау, ау! Я слышу ваши зовы

И вижу вас, лишь крикнуть не могу...

Граждане пешеходы! Рассеянные, уткнувшиеся в асфальт под ногами муравьи-москвичи! Проходя по Смоленскому бульвару мимо привычной булочной, ателье, аптеки, — оторвите свой усталый взор от земли. Взгляните вверх — на далекие, тусклые квадратики окон над желтой неприметной Стеной! Ведь кто-то и сейчас томится за этими безликими, мутными стеклами.

Научная тухта врачей

Я говорил выше, что в институте среди находящихся на экспертизе зеков практически не было больных. Конечно, я имею в виду только свое 4 отделение и то недолгое время, которое там находился, хотя и не думаю, что это был какой-то особо благополучный период или что в других отделениях дело обстояло иначе.

Всего за два месяца мимо меня прошло около 50 человек, из них осталось в памяти, зафиксировано по фамилиям (то есть это те, с кем хоть как-то общался) человек 30–35, и о них почти обо всех я в своих записках упоминаю. Из этого числа, как мне кажется, были действительно больными всего три-четыре человека: наш «тихий дурачок» Петя Римейка; очень похожий на него, только возрастом постарше Бучкин (ниже расскажу о нем); золотоголовенький мальчик Миша Сорокин. Возможно, были больными еще двое: 69-летний Никуйко, убивший свою жену; чернобородый коммерсант Семен Петрович Б. и упоминавшийся мною Игорь Розовский. Итого шесть. Признано же было гораздо больше, при этом среди них были люди абсолютно здоровые: Володя Выхочков, Иван Радиков, Геннадий Асташичев... Это — явно признанные, из тех, что я знаю.

В общем, повторю свои цифры. Я считаю: 90–95% всех, попадающих в институт Сербского, — здоровые, попросту «закосившие» люди. Да это понятно, ведь почти все истинные больные выявляются без института Сербского, на областных экспертизах. Признается больными в институте, по моему мнению, процентов пятнадцать всех экспертных. Но это все равно больше процента истинно больных, и таким образом, в числе признанных неменяемыми в институте имени Сербского идет в психбольницы на принудительное лечение до 70 % здоровых людей. Наличие большого числа здоровых людей, признанных больными, отмечают и другие свидетели.

Это и есть желанный финиш для многих уголовников. Чем же тогда заняты врачи института? Сознают ли они истинное положение дел? Думаю, что да. Большую часть своего времени и энергии они тратят, видимо, на разоблачение симулянтов, а не на диагностику действительно имеющих место психических заболеваний. Конечно, было бы интересно посмотреть их статистику по этому предмету, да где взять?

Что касается признания психически больными здоровых людей (я говорю сейчас не о сознательном признании, как это имеет место в отношении политических), то врачи, видимо, увлекаясь симптоматикой, искренне верят, что ставят точный диагноз. Хотя опытные врачи, на мой взгляд, должны понимать, что в отдельных случаях зеки их проводят. Ведь точных методов диагностики нет, все субъективно, условно, особенно при маниакально-депрессивных психозах и шизофрении. Да и свою «норму» выявленных больных надо дать — подтвердить какой-то средний, спущенный сверху процент, и вообще — чтоб не усомнились в способности, не ругали как учителей за большее, чем положено, количество двоек... Еще и научность надо продемонстрировать, видимость научности, все на полном серьезе должно быть, институт ведь центральный, головной! Очень много времени тратится на случаи, по сути не стоящие выеденного яйца, видимые, как говорят, невооруженным глазом. Мне кажется, центральный этот институт в боль-

шинстве случаев выполняет чисто провинциальную работу: перестраховывая себя, областные врачи направляют в него таких больных, с которыми вполне могли бы разобраться сами.

Лежал в нашем отделении больной по фамилии Бучкин — 56-летний выпивошка из Поваровки (местечко под Москвой). Худой как скелет, вечно улыбающийся морщинистый мужичок без единого зуба и с седым пушком на голове, он ходил по палатам и рассказывал каждому встречному про свою «жизнь». И этому встречному после пяти минут разговора становилось ясно, что перед ним тихий и безобидный помешанный. Так вот Бучкин приехал в институт Сербского ни много ни мало... в 6-й раз! Впервые он был здесь... в 1939 году, 35 лет назад. Затем, арестовываясь время от времени за мелкие кражи или кухонные ссоры, был в институте еще и еще, каждый раз в новом отделении... Ему был знаком здесь каждый угол, многих толстых отделенческих няnek он знал еще девчонками. Между прочим, сейчас Бучкин был арестован за кражу старого, оцененного в десятку пиджака, который он по пьяному делу снял с крючка в электричке. Статья у него (96, мелкое хищение) была всего до шести месяцев, а он сидел под следствием (ждал очереди в институт Сербского!) уже пять.

Бучкин не горевал: кормят-поят, спать чисто и тепло. Натирал паркет в отделении — пачка сигарет в день обеспечена...

Спрашивается, что это? Такой сложный случай, что 35 лет высшая научно-исследовательская лаборатория страны голову ломает? И почему каждый раз в новом отделении? Или у него сегодня — паранойя, завтра — шизофрения, послезавтра — маниакал? Скажите, какой наш Бучкин, оказывается, клад для науки, на нем не один институтский доктор диссертацию защитил. А он, их кормилец, оказался здесь... за пиджачок в электричке!

Шутки шутками, но факт, по-моему, характерный. Так вот институт Сербского и живет, этим и кормится. Короче, его врачи, видимо, часто сами рожают своих больных (если в институт их не густо привозят, то надо же где-то взять?) и делают вид страшной занятости и высокой научности, в плане ученых доктрин профессоров Снежневского, Кобрикова, Банщикова, Морозова и.д., одним словом — смыкаясь с дурачащими их зеками, — гонят свою, научную «тухту» (или, как утверждает А.И.Солженицын, «туфту»). А что сделаешь? Цыпленок тоже хочет жить.

Саша Соколов и дед Никуйко

Важным преимуществом новой палаты было отсутствие надзорной няньки. Правда, дверь в коридор была всегда открыта, и нянька, сидевшая в большой палате напротив, могла присматривать и за нашей. Но для этого ей надо было повернуться на 180 градусов, что при достаточной тучности

(почти все няньки были непомерно толсты) и лености происходило не часто. Поэтому что-то, а уж говорить друг с другом можно было бесконтрольно. Чем мы и занимались.

Напротив меня, через стол, лежал Ваня Яцунов. Его, как заводилу, специально отделили от остальной молодежи. У него «в ногах», вдоль стены, головой к двери, спал дед Никуйко, у меня — краснобородый Саша Соколов. С ним первым из новых сопалатников и возник у меня, хоть тоже недолгий, контакт.

Саша сидел за кражу в Москве (с перепродажей грузинам) легковой автомашины. Все его подельники были давно осуждены к большим срокам (8–12 лет), он же был признан душевнобольным и помещен на принудительное лечение в московскую психбольницу №15. Все бы хорошо, да угрозило ему (он теперь так сожалел об этом!) совершить побег из больницы. И сам не знает, зачем это было нужно. Просто, как рассказывал он мне, не устоял, осознав возможность. Бежал один, перепрыгнув больничную стену. Зимой, в чем был, в тапочках больничных по снегу. Конечно, недалеко ушел, квартал-два всего. Вернули в больницу, с полмесяца прошло спокойно, как будто ничего и не случилось. А потом вдруг явилась милиция ... скрутили руки, зачем-то наручники надели. Отвезли сначала в тюрьму, оттуда — в институт, уже во второй раз. Саша понимал, что на переосвидетельствование, и очень боялся признания его здоровым. Ведь в этом случае его ожидал суд и, конечно, большой срок. Он, правда, в это не верил. Боялся, а где-то внутри был уверен, что не случится так, ведь уже признан был, лежал в больнице... В прошлом, в школе, тоже случались какие-то контакты с психиатрами... Кроме того, «бред» у Саши был выгодный, надежный для умелого, — «голоса». Они шептались по углам, грозили, обступали... Лечащим врачом Саши была, как и у меня, Любовь Иосифовна, и она понимающе кивала головой, внимая его рассказам. Все как будто шло хорошо, к подтверждению болезни. Саша был особенно утешен результатом «подкомиссии» (беседа с профессором накануне официальной комиссии). Принимавшая его Маргарита Феликсовна Тальце сказала будто бы, подытоживая разговор, Л.И. Табаковой: «Да, совершенно инфантильное сознание!..» Рассказывая об этом, Саша радовался, вновь и вновь повторяя по слогам это обнадеживающее определение — «ин-фан-тиль-ное соз-на-ни-е».

Да, уж, каким-каким, а инфантильным Сашу никак нельзя было назвать. По сравнению с Радиковым, даже Матвеевым. Это был культурный, начитанный юноша, с которым мы продуктивно беседовали о Фолкнере, Хемингуэе. Саша работал техником по оборудованию в министерстве не то здравоохранения, не то медицинской промышленности. Он происходил из хорошей, интеллигентной семьи (отец и мать — инженеры), был образован (техникум) и воспитан в столичном духе. Ум имел легкий, быстрый,

на преступление его толкнула божественная жизнь, он переживал его остро, в разговорах со мной — стыдился.

Вторым моим сожителем и частым партнером за шахматной доской стал дед Никуйко. Я уже говорил, ему было 69 лет. Одинокая, забытая людьми душа. Высокий, прямой как трость, поджарый старик с серебряной головой. Никуйко был глух, а в слуховом аппарате сели батарейки, и он жил теперь в отделении, как в раковине, в полной и, наверное, страшной тишине. Как это у Ходасевича? «Старик, зачарован своей тишиной...» Никуйко часами лежал на кровати — недвижно и немо. Хотя в остальное время был подвижен и общителен, как может быть общителен глухой. Хорошо играл в шахматы, гордился своим 1-м разрядом. Когда я однажды (сам испугавшись) выиграл у него, Никуйко был обескуражен: «А ну еще раз!». И вновь проиграл. Смешал шахматы в порыве, бросил. В дальнейшем играл только со мной, каждое поражение переживал болезненно, хотя и молча.

А вообще был добрый, тихий дед. Не вязалось с ним его преступление — убил, зверски, молотком, свою жену... Причем прожил-то с ней всего несколько лет, это был поздний, стариковский брак. Впрочем, если все было так, как он рассказывал, можно в чем-то если не понять, то хотя бы пожалеть старика.

Никуйко до этого уже сидел в лагере — какая-то халатность, нечаянный поджог или что-то в этом роде. Освободившись, был очень одинок (с первой женой разошелся давно) и сошелся с женщиной лет на 25 моложе себя. Ну и переехал к ней. Поскольку деньги у него были, купил дом в Волгограде и все имущество. Стоило видеть эту сцену, когда Никуйко перечислял, загибая пальцы:

— Одежд было шесть, из них два — верблюжьих... пододеяльников — шесть... простыней — восемнадцать... — ну и т. д., включая мебель, утварь, одежду.

В общем, приедл женушку. А женщина, как он рассказывал, попалась вздорная, жадная, всё-то ей мало; еще ведь и мать у нее была, совсем хищная старуха, та уськала, подгоняла. Пошло как в сказке о старике и рыбке. Телевизор купил — мало, давай дом на нее переписи. Переписал — мало, облигации давай «золотого» займа... Короче, не стерпел дед однажды. «Кулаком бы, — говорит, — ударить, а я ... молоток схватил!» Что было дальше — и не помнит.

Никуйко очень страдал и боялся приговора.

— Как ты думаешь, — спросил он меня однажды в полной тишине палаты, причем я был уверен, что он давно спит. — Расстреляют меня?

У старика был взрослый сын в Ленинграде (от первого брака), юрист, адвокат. Но он не знал о том, что произошло с отцом, а Никуйко сообщить ему не решался. Я посоветовал все-таки написать сыну. Ну, чтобы тот, скажем,

адвоката хорошего нанял...

— Конечно, конечно, — закивал Никуйко. — Да только... я ведь и написать-объяснить хорошо не сумею.

Я предложил ему свою помощь и в дальнейшем действительно сочинил такое письмо. Никуйко был страшно рад, благодарил меня, в глазах у него зажглась надежда. Письмо переписал своим почерком и отнес врачу. Та обещала отправить. Вообще старик ожил, привязался ко мне, как мальчишка. Смешно и трогательно ревновал меня к заходившему в палату Ване Радикову, а после него — к Игорю Розовскому, нашему поэту. В глаза ему однажды выпалил:

— Зачем Вы сюда ходите? Время у Виктора отнимаете! Не ходите к нам больше!

Вела Никуйко Мария Сергеевна, самый молодой отделенческий врач. Говорили, что она всего два или три года назад окончила институт. Была она дородна и округла во всех статях, этакая красивая, сытая и глупая телка. Очень обидела однажды нашего деда!

Никуйко курил. Как всем, не получающим передач, ему выдавали ежедневно по 10 сигарет «Памир», а этого ему не хватало. Вот он и спросил как-то у Марии Сергеевны, нельзя ли, чтобы ему выдавали немного больше сигарет.

— Нет, конечно, — сказала Мария Сергеевна (представляю ее красивое и каменное лицо в эту минуту). — С какой это стати?

— Мне не хватает.

— Так бросьте курить.

— Что Вы, я уже 50 лет курю.

— Ну тогда... у других просите!

— Да мне неудобно, стыдно просить.

— Вот еще! — сказала Мария Сергеевна. — **Убить** было удобно, а попросить курить ему, видите ли, стыдно!

Дня два после этого Никуйко лежал в лежку. Ничего не ел, бурчал на всех. И все мотал головой, обращаясь ко мне, жаловался:

— Да как она могла так сказать?! «Убить было удобно...» Как она могла!

Я думаю, что Никуйко был больным человеком. Ну, это мог быть какой-то возрастной психоз, старческое изменение личности. Ему ведь все-таки 69 лет было. Да еще эта жизнь в глухоте... Так или иначе, он заслуживал снисхождения. И когда та же Мария Сергеевна дала в конце концов (не знаю уж, как там было записано по-научному) заключение о его неменяемости, вздох облегчения, как говорили в старину, вырвался из моей груди. Ну и правильно. Какой уж тут прок государству и урок обществу — казнить несчастного старика? И вполне хватит для него одинокой казенной койки в какой-нибудь провинциальной богадельне.

Потери и встречи

Побеседовав со мной разок, Любовь Иосифовна будто обо мне позабыла. Даже на обходах не появлялась. Может быть, просто болела? Между тем продолжались анализы. Взяли у меня кровь из вены. Как прочел на бумажке, что лежала перед сестрой: 1. На РВ (реакция Вассермана на сифилис). 2. На протромбин и холестерин. 3. На «С»-реактивные белки и 4. На антистрептолизин. Это что за штуки? Кровь на протромбин взяли потом вновь, из пальца. Еще сделали кардиограмму. Ну, это по назначению терапевта, я ведь ей жаловался на сердце, сказал, что в 1972 году подинфарктный приступ был. Наверное, и все остальное — в связи с этим.

Все свободное время, а его было хоть отбавляй, я в основном посвящал чтению. «Только для Вас!» — сказала библиотекаряша, принеся мне пять изящных томиков Герцена «Былое и думы», и я с наслаждением погрузился в чтение, уплыл в далекие сумерки николаевской России.

В сумерки ли? Чем глубже я входил в книгу, тем завидней становился тот свет, что казался Герцену потемками. И еще одно. Книга оказалась вовсе не тем, чем я ее себе представлял.

Вот коротенькая запись из дневничка от 1 февраля 1974 г. Привожу ее целиком, чтобы не перебить первое, непосредственное восприятие тех дней сегодняшним рассуждением.

«Почему не прочел книги Герцена раньше? Ведь помню, открывал ее в юности, в Томске, и не прочел. Я тогда искал в ней рассказа о любви, а увидел — отпугнувшую меня революцию. Сейчас, наоборот, открыл с единственной целью читать о революции, а обнаружил вдруг, что это книга о любви и большой человеческой тоске...»

Да, в рассказе Герцена меня больше всего привлекли не факты, а думы. Не история века и революции, а личная жизнь и характер Герцена. Образы его друзей, Натали. «Рассказ о семейной драме» потряс своим трагизмом, и я понял, что это — главное, основной сюжет книги.

Еще я читал, чередуя с Герценом, «Историю моего современника» Короленко. Мог сравнивать эти большие, в чем-то созвучные книги, размышлять...

Дневник я вел очень осторожно, кратко, затемняя выписками из книг, избегая имен и оценок. Сейчас жалею, конечно, но где была гарантия, что он сохранится? Ведь в том, что все мои бумаги тщательно проверяются, я не сомневался.

В свободное от чтения время выслушивал и просвещал Ваню Радикова, играл в шахматы с Никуйко. В конце января случились две потери: выбыли один за другим Саша Соколов и Ваня Радиков.

Саша — 28 января, тотчас после своей «комиссии». Когда увозили сразу

— значит, признан здоровым. К тому же понедельник — этап на Матросскую Тишину. Увы, не сбылись Сашины надежды, несмотря на «инфантильное сознание». Помню, как его взяли. Он только пришел, разгоряченный, с комиссии и прилег на койку. Помню, как он вскочил обезумело, когда нянька тронула его за плечо. Вскочил, а ноги тут же подкосились.

«Узнала я, как опадают лица,
Как из-под них выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках»

— писала Анна Ахматова в своем «Реквиеме». «Опадают лица». Помоему, нельзя сказать точнее. Вот так опало и Сашино лицо. Собственно лицу не стало. Одно белое пятно.

Не стало и Вани. Этот встретил известие об отъезде спокойно, даже как-то радостно. Но ему ведь нечего было бояться. Увезли еще Песочникова — Ногтеда.

А на место выбывших пришли другие. В большой палате появился 30-летний шофер из Шереметьева, стрельнувший из двустволки в свою мать — Женя Себекин. А еще Володя Шмилин — застенчивый черноглазый мужчина 35 лет, экономист, единственный пока человек с высшим образованием, повстречавшийся мне в «бездне». Через недельку он переберется ко мне в палату, сначала на место Саши, потом заменит Витю Яцунова, и мне тоже предстоит еще обжечься об его исповедь. И тоже проводить его обратно в «бездну», как и прибывшего вместе с Володей с Матросской Тишины (даже в одной камере сидели), только помещенного в другую, затемненную, палату, — Игоря Розовского, нашего экзальтированного поэта-коневода. О, этот высокий, горбоносый человек, умный и насмешливый, легко вступающий в контакты, сразу привлекал внимание. Он ходил по отделению, величественно, как в римскую тогу, запахнувшись в драный, до колен, халат, из-под которого торчали мослатые и шерстистые ноги. Голова у него всегда была чуть запрокинута назад, острый кадык шевелился, а руки, как на буддийском молении, сложены ладонями на груди.

Не смогу не посвятить ему отдельную страницу.

И еще появился в отделении реактивный Тумор. И еще какое-то звероподобное, заросшее бородой существо с обезьяньими до колен руками по фамилии Короткевич. На плечах у него, симметрично и ярко, были вытатуированы полковничьи погоны. Привезли его аж с Камчатки.

Вот так и текли через отделение и через мою жизнь — неторопливым и безостановочным ручейком — все новые и новые люди.

И было имя им Легион.

Репрессии

И все же тюрьма просвечивала сквозь бутафорию «сладкой жизни», она вся была тут, словно волк в костюме Красной Шапочки, и никак не могла спрятать свои желтые зубы. И оттого еще острее был гротеск, смыкание фантазмагории и яви...

Пусть на поверхности не было ни лязганья замков, ни матерни вертухаев — тюрьма сидела в наших мышцах, мы были связаны с нею неотторжимой пуповиной, которая могла в любую минуту втянуть нас обратно в ее холодное, каменное лоно.

Кроме того были репрессии. Причем здесь они приняли новую, еще более изощренную форму — психиатрического, лекарственного кнута. Пусть это случалось не часто, но нарушителей порядка, дисциплины, в общем, всех непокорных, — безжалостно кололи. Не знаю, сам я такого не испытал, но, видимо, было еще страшнее, когда нянька приглашала медоточивым голоском:

— Ну-ка, милый, давай на укольчик!

Кололи аминазин, от которого любого бунтаря через 20 минут валил с ног неодолимый сон. Эти несчастные двигались потом по отделению как сонные мухи, большей частью они лежали безучастно на койках, поднимаясь только ненадолго в туалет, чтобы выкурить там, в полной прострации, горькую свою сигарету.

Лежал у нас, в затемненной палате, какой-то кавказец-уголовник (уже из лагеря, он имел, кажется, 10-летний срок за убийство) по имени Хасби Марчиев. Это был очень спокойный молодой человек лет 33-х, он целыми днями лежал на кровати, улыбаясь псевсть кому тихой, полудетской улыбкой. Ни с кем в отделении он не разговаривал, был само воплощение кротости и послушания. А однажды, словно муха какая ужалила нашего Хасби — он выскочил вдруг в коридор, встал в дверях процедурной и громко потребовал вызвать врача. Дело было в конце дня; кажется, даже в субботу или в воскресенье, и сестра Александра Павловна сказала, что врачей сегодня нет. Но Хасби продолжал шуметь, он долго, мешая русские и кавказские слова, что-то доказывал сестре, возмущался, что его почти месяц держат здесь, а никто не смотрит, не лечит, врач только обманывает, что будет с ним говорить, а сам не показывается...

Не знаю, на какую скрытую сигнальную кнопку нажала Александра Павловна, но через некоторое время с «черного» входа в отделение появились 3 или 4 прапорщика в белых халатах. Я помню, как скорчился Хасби, увидев эту процессию — понял. А они подхватили его под руки (предварительно загнав нас в палаты и затворив двери) и увели с собой через ту же дверь, откуда вошли. Спустя несколько минут из процедурной вышла Александра

Павловна. В одной руке она держала шприц, наполненный розовой жидкостью, в другой — клочок ваты. Нянька отворила ей дверь, за которой скрылись прапорщики с Хасби... А на следующий день, к вечеру, вернулся и Хасби. Всего сутки пробыл он в карцере; возможно, врач, узнавший об этом случае, не санкционировал дальнейшего пребывания Марчиева под арестом, он ведь и правда дурачил своего подопытного «кролика», скрывался от него. Умиротворенный, тихий, Хасби по-прежнему сутками лежал на койке, улыбаясь в потолок все той же блаженной улыбкой. Кстати, карцер находился где-то на 2-м этаже, в 1 или 2 отделении. Говорили, что в нем очень холодно и спать приходится на голом полу.

Еще один случай аминазиновой репрессии произошел у меня на глазах, поразив чудовищной несправедливостью.

Всему виной был все тот же отделенческий шалопай Яцунов. Однажды он нарисовал на листке женский профиль с выпуклым бюстом, под которым написал: «Дорогая Мария Сергеевна, я тебя люблю!» (У Марии Сергеевны действительно был выдающийся бюст.) Под этой фразой-признанием он поставил подпись — «Бучкин», и листок как-то умудрился передать Марии Сергеевне — как бы от ее поклонника.

И что бы вы думали? Мария Сергеевна приняла шутку всерьез. При этом она даже не удосужилась попросить у Бучкина объяснения — взяла да назначила ни в чем не повинному человеку десять инъекций аминазина!

Вечером недоумевающего Бучкина потащили в процедурную. Неважно — кто и за что, важно — назначено. Значит надо выполнять. И бедняги вкатили полный курс, целую неделю он почти не вставал с постели.

Даже Яцунов, не ожидавший такой реакции со стороны Марии Сергеевны, опешил и переживал. Правда, пойти и признаться у него, конечно, не хватило смелости.

Нет, вовсе не райским островом был Институт дураков — самой обыкновенной тюрьмой.

И вкрадчивая улыбочка Ландау была — маской обычного тюремщика, палача. Конечно, нет у меня прямых данных. Но я не сомневаюсь, что и он бросал — одним росчерком пера — людей в карцер и на кушетку под аминазиновую плеть.

А после этого, может быть, и читал Герцена...

Тюрьма...

Ушлый волк в личине Красной Шапочки облизывает свои насытые зубы. И урчит плотоядно.

А мы... едим свою райскую сардельку и на простыни белоснежно спим.

«Злой мальчик» Витя Яцунов

Витя Яцунов, четвертый обитатель нашей палаты, был из числа тех, кого в детстве называют трудными детьми. Да он и недалеко ушел от той поры, этот 20-летний веснушчатый юноша из подмосковного местечка Голицино. Хотя имел за спиной уже 3 «ходки» (три тюремных срока), начав с колонии для малолетних. В общем, это был, несмотря на молодость, законченный, профессиональный уголовник. Сейчас он был арестован по 206 статье (хулиганство) за драку в кафе, ему грозил срок до пяти лет, и Витино желание отделаться психбольницей мне было понятно. Кстати, во время последнего срока (тоже за драку) он уже был признан больным и какое-то время находился в межлагерной психиатрической больнице в г. Рыбинске. Рассказывал о ней жуткие истории, в частности, о смиренных «скрутках», которые там применяются.

Витя был злым демоном отделения как для зеков, так и для медперсонала. Зеков — третировал. Похищение у Каменецкого листочка с исповедью было едва ли не самой безобидной выходкой. Слабых он бил, отнимал сигареты и продукты. Сильных — обыгрывал в домино, артистически шулерствуя. Постоянно доводил няnek и сестер: то перевесит таблички с фамилиями на дверях палат, то каких-нибудь таблеток в процедурной наберет... Однажды выкрал у няньки из кармана ключ от дверей... В другой раз придремавшую няньку к стулу привязал... Зачастую Витя явно «перекладывал», переигрывал, открыто работая «на публику», но это, видно, входило в его «психиатрическую программу». По принципу: чем нелепей — тем верней.

Не знаю, чем подкупил я заledenевшее сердце этого злого мальчишка... Может быть, тем, что не поддакивал и не смеялся, глядя на его шутовство, но вместе с тем и не порицал, не точил? К его рассказам отнесся по-взрослому, без иронии? Заговорил на какие-то отвлеченные, «красивые» для воровской, уголовной души темы? Например, о большой женской любви. Отрывки из «рассказа о семейной драме» Герцена ему читал, из писем Натали...

Витя лежал на соседней койке, по-мальчишески подперев щеку ладонью, и смотрел на меня проснувшимися, прозрачными глазами. Приручался, оттаивал.

Постепенно поведал мне историю своей загубленной жизни и своих преступлений против общества... Конечно, как выяснилось, безотцовщина... Детсад, пустая, скоро надоевшая школа и — более притягательные уроки улицы. Мама работала продавцом... Домой приходила поздно. Хорошая, но... Появился отчим, потом другой. Водочкой угостил... В общем, в 12 или 13 лет — за уличное ограбление — попал Витя туда, где детей называют «малолетками». И все делают для того, чтобы возбудить в них комплекс

неполноценности и натравить на мир. И пошел Витя по накатанной дорожке... Ведь давно известно, что не исправляет наш лагерь никого, хоть он и «исправительный». Только развращает и ожесточает. Почему т. н. повторная преступность у нас, как ни в одной стране велика...

И уже не выбраться из хваткого круга. Так и сказал мне Витя в минуту откровенности: «Я бы рад выскочить, да не могу!..» Он словно бы видел впереди еще более темные глубины.

Признания его «дураком» Витя хотел страстно. Ведь это не только сейчас спасло бы от лагеря, но и дало бы, как он выражался, «красную книжечку» на все времена. То есть пей, кути, дерись, воруй — все ничего, сойдет, ведь ты «псих», «дурак», и с тебя как с гуся вода.

Витя нервничал, т.к. лежал в отделении второй месяц, а все-то, вроде, никаких сдвигов не было. Пару раз поговорил с ним врач (Альберт Александрович Фокин), сделали стандартные анализы — и все, забыли. Не понимал он, что в этом-то и заключалась главная «метода» института Сербского: пронаблюдать незаметно, как испытуемый реагирует на такое «забвение», выявить — ждет он чего-нибудь или нет? Здоровый, сознающий, желающий признания будет нервничать из-за неизвестности, а больной, что, — останется безразличным. Просто и хорошо.

Витя ждал. И чем меньше оставалось до конца второго срока, тем отчаянней становились его проделки. Я уже рассказывал о шуточках с няньками. А однажды он чуть не до кондрашки довел дежурного вертухая, имитировав побег... Вечером, после отбоя, Витя залез под наш круглый стол и скрылся за длинной, чуть не до пола свисающей клеенкой. Нянька раз заглянула в палату, два — Яцунова нет. Прибежал дежурный прапорщик, заглянул под кровать — нет! Я принял участие в игре, т.к. лежа в своей постели, видел Витю сбоку. Комментировал беготню вертухая и нянек. А там уже сестра носилась по отделению, хлопали дверями, зажигали в палатах свет. Включили и в нашей на минуту. Под стол почему-то никто не заглянул. Вертухай еще несколько раз забегал, держась рукой за сердце. В конце концов он, видимо, поднял тревогу, т.к. примчалось пять-шесть прапорщиков и даже офицер. Зажгли везде свет. Конечно, при такой облаве улыбающегося Витю в скорости извлекли из-под стола. Он укусил при этом прапорщика за руку. Тот матюгнулся и хотел ударить Витю, но сестра с нянькой захлопотали:

— Успокойся, Витенька! Ложись! Ну чего это ты? Успокойся!

Обошлась проделка Вите. Примолк на день-два. Потом снова напроказил — разбил при открывании форточки-фрамуги стекло в нашей палате. Здесь оказалось обычное, бьющееся. И это тоже внесло некоторое разнообразие в наше монотонное существование.

Так жили и развлекались мы с ним. Когда лежали рядком на койках и разговаривали шепотом, обмякала его душа. Все-все рассказывал мне Витя:

и о «корешах», и о девчонках своих. Привязался ко мне по-доброму. Может быть, потому, что я был один из немногих, кто погладил его в жизни по стриженной, сиротской голове...

Камера-обскура

30 января в послеобеденный час вдруг позвала меня сестра и повела куда-то. Вышли из отделения, прошли через комнату, где раздеваются врачи и сестры. По лестнице вниз один пролет. Подошли к двери, на которой табличка «Энцефалографический кабинет». Эге, это уже что-то посложней! В кабинете нас встретили две миловидные женщины, врач и сестра. По углам на столах — груды какой-то сложной аппаратуры, ступить некуда, как на подводной лодке. Прямо на меня глядел экран большого осциллографа. Врач открыла дверь внутри кабинета:

— Проходите сюда.

Я очутился в темной, обитой черной материей комнате. Вспыхнул свет. Посреди стояло кресло-стол, вроде операционного, обитое мягкой синтетикой. Меня попросили сесть на него. Получилось полулежа. Врач сказала, что у меня сейчас снимут биотоки мозга.

— А если я не хочу?

— Ну, что Вы! Это же совершенно безвредно. И не больно. Вы ничего не почувствуете. Только надо лежать спокойно, не напрягаться.

Ну, хорошо, посмотрим. Ведь кроме всего прочего, и любопытно.

На голову надели резиновую шапочку с отходящими от нее в разные стороны проводами. Какие-то резиновые присоски прильнули к вискам. Наложили манжетки, тоже с проводами, на запястья. Еще на затылок что-то. Уложили в определенной позе. Все это я уже видел в фильмах о космонавтах. Еще раз попросили лежать спокойно, не шевелиться, ни о чем не думать. Ушли. Щелкнул выключатель, и я остался в полной темноте.

Лежать было приятно, легко. Значит сейчас на осциллографе пишут мои биотоки? И самописец чертит кривую? Ну тогда!.. И я начал четко читать про себя стихи, отчеканивая ритмично:

Пом-нят ли там о пе-чаль-ном зат-вор-ни-ке,
Или по-ра за-бы-вать?

Читал и читал подряд все свои стихи, написанные за эти полгода во владимирских тюрьмах. Исчерпав их, взялся за Тютчева. Читал, налегая на ритмику. Представляю, какая пляска поднялась у них на экране!

Прибежала сестра.

— Вы что, бровями двигаете?

— Да нет, что Вы, лежу как лист.

— Спокойно, спокойно. Расслабьтесь совсем.

Поправила завязочки, ушла. И снова читал я стихи, посылая по проводам дактили и хорей.

На этот раз пришла врач. Тоже попросила расслабиться. Дала в правую руку какую-то втулку с кнопкой и попросила нажимать ее каждый раз, когда вспыхнет свет. Опять был мрак, стихи. Вдруг слева над головой вспыхнула красная лампочка за рифленным стеклышком. Я нажал кнопку. Ну и так далее, через разные промежутки времени лампочка загоралась, видимо, определялась скорость моей реакции. Тут я не халтурил, хотя стихи читал по-прежнему.

Затем стали подключать звук — негромкий зуммер. Здесь уже через строго равные промежутки: звук — свет, звук — свет. При вспышке надо было, как и раньше, нажимать кнопку. Так играли мы долго, потом вдруг звук... а света не последовало. Конечно, палец дернулся, но на кнопку я не нажал. Глупости, обычная выработка условного рефлекса и проверка его по Павлову...

А может, как раз и надо было её нажать?

Эксперимент, слава Богу, вскоре окончился. Меня освободили от присосок. Вся процедура длилась добрый час. Когда уходил, смотрели (сестра, по крайней мере) на меня с ужасом. Не знаю, уж как он там выглядел, мой пульсировавший стихами мозг. Полагаю, токи были сильные.

На следующий день эксперимент с камерой-обскурой повторили. На этот раз, прежде чем приступить к опыту, врач спросила меня:

— Вы биолог?

— В некотором роде. Я фармацевт.

Ну, тогда поймете. Вот смотрите, ничего страшного, мозг испускает электромагнитные колебания...

Она подвела меня к барабану, на котором была записана энцефалограмма, и стала объяснять ее принцип.

— Вот период покоя... Вот порог, ожидание... Здесь вспышка.

Конечно, смутила их бешеная работа моего мозга. Повторилось все вчерашнее. Даже в большем объеме, часа на полтора. На этот раз я прочел все, что знал Тютчева, но еще несколько стихотворений Гумилева, самых чеканных.

Больше на энцефалографию меня не приглашали. Видно, поняли, что дурачу.

Это была вершина т.н. научных исследований, которым подвергали мою персону в институте имени Сербского.

Методы исследования. Глава 1: «Объективные» методы

Все немногочисленные методы исследования, применяемые в институте имени Сербского для установления психического состояния обследуемых, можно разделить на две группы: на объективные методы и методы субъективные. Под объективными я подразумеваю исследования с помощью какой-либо, пусть не очень сложной и неспецифической, исследовательской техники; субъективными же называю методы, основанные на личном, так сказать, бесприборном наблюдении. Конечно, классификация эта приближительна, но я применяю ее, чтобы облегчить свой рассказ. Я включаю сюда все исследования, какие наблюдал и каким подвергался в 4-м отделении института.

Сказать могу: объективные методы были беспомощны и никчемны. Я уж не говорю неспецифичны, ибо в психиатрии, увы, вообще не существует методов специфической, безошибочной диагностики. Собственно, это были, за небольшим исключением, обычные клинические исследования: общие анализы крови и мочи, рентгеноскопия грудной клетки, все обследуемые осматривались терапевтом и окулистом, терапевт измеряла артериальное давление, аускультировала сердце и легкие, пальпировала живот. Исключительно по моим жалобам на сердце мне по назначению терапевта была сделана кардиограмма, а также анализ крови на протромбин, холестерин и др. Окулист проверяла остроту зрения, некоторым измеряла внутриглазное давление.

Кое-кого направляли еще на консультацию к невропатологу, я лично этого избежал. По жалобам и просьбам направляли к хирургу, отиатру и пр.

Некоторым отклонением от общеклинических исследований было рентгеновское просвечивание черепа. Этот снимок делали всем, хотя он, конечно, тоже не имел никакого диагностического значения, ведь шизофрению на рентгеновской пленке не углядишь. Зато рентген черепа имел определенное психологическое воздействие на зеков — людям казалось, что их обследуют, коли уж подбираются к мозгу, добротнo и глубоко.

Несколько более сложным, хотя все-таки чисто условным, было энцефалографическое обследование или запись биотоков мозга. Что оно могло показать? Ну разве что от дебилов, олигофренов можно было ждать специфической, ущербной энцефалограммы, но ведь таких и простым глазом видать. Я думаю, что это внешне эффектное обследование имело больше психологическое воздействие на симулянтов, чем служило диагностике.

Основной энцефалографический кабинет находился недалеко от нашего 4 отделения. Но в институте были еще какие-то энцефалографические лаборатории. Так, Володю Шумилина водили на первый этаж, где также

снимали токи мозга, однако эта процедура происходила не в затемненной камере, а в обычной комнате. Опытов с лампочками и зуммерами там было больше и они были разнообразнее. Вот такой пример: в комнате висело табло, на котором то появлялась, то исчезала светящаяся надпись — какое-то слово, которое нужно было постараться прочесть. Мозг напрягался, вот-вот готова была вспыхнуть догадка, но... слово исчезало. Затем все повторялось. Володе Шумилину, правда, так и не удалось прочесть это слово.

А Игоря Розовского и Женю Себекина водили куда-то через двор, в другой корпус. Там испытуемый должен был производить в уме заданные арифметические действия, например, сложение, а электронная машина оценивала результат. Еще нужно было играть с машиной в какие-то логические игры. Так и говорили обследуемому: «Вам нужно поиграть — посоревноваться с машиной». К сожалению, сам я у этой хитрой машины не был и рассказать подробней не могу. Игорь ходил туда с удовольствием, т.к., во-первых, дышал воздухом при переходах через двор, а во-вторых, там работала миловидная лаборантка, которая ему нравилась. Я подозреваю, что на это исследование зеков водили во Всесоюзный научно-исследовательский институт «Биотехника», с которым у института Сербского был общий двор. Да и чисто логически: не могли два таких института не сотрудничать. Наука и практика. Отставала только здорово эта наука...

Вторая встреча с врачом

1 февраля, во время «тихого часа», состоялась, наконец, вторая встреча с врачом. На этот раз в той же «актовой» комнате, где я был на комиссии. Любовь Иосифовна сидела за одним из столов, меня усадили визави. Выглядела расстроенной и усталой, опять поглядывала на часы. Через комнату сновали врачи, за столом в углу что-то писала врач Валентина Васильевна.

— Ну, Вы у нас уже адаптировались? Не могу понять, чем вызвано Ваше напряжение.

Я пожал плечами. Конечно, где уж тут понять, что мы с нею просто-напросто заряжены разноименным электричеством, ну а «адаптироваться» к несвободе — не каждому дано.

Следующие вопросы были еще примитивнее:

— Вы не могли бы охарактеризовать свой характер?..

— С кем из больных в палате Вы ближе всего сошлись?..

— Кто Ваш любимый писатель?..

На последний вопрос я прыснул.

— Почему Вы смеетесь?

— Вы спрашиваете так, будто я школьник, прочитавший за свою жизнь 2–5 книг.

— Сколько же Вы прочли?

— Достаточно, чтобы говорить о литературе профессионально.

— То есть как профессионально?

— Ну хотя бы не задавать таких вопросов. Извините, но спрашивать литератора, кто его любимый писатель, я считаю просто неприличным.

Обиделась. Вскинула голову. Видимо, исчерпав вопросы «психологические», перешла к сути.

— Ну хорошо. Скажите, как Вы относитесь к предъявленному обвинению?

— На этот вопрос, как и на все, касающиеся следствия, я отвечать не буду. Вы это знаете.

— А как Вы оцениваете свое заявление?

— Какое заявление?

— Н-ну, Ваше заявление. То, что в деле...

— Если Вы имеете в виду заявление об отказе участвовать в следствии, то считаю его основополагающим. В нем ответ на все Ваши вопросы.

— Так Ваши взгляды не изменились?

— Нет.

— Ладно, Виктор Алексеевич (так хорошо изучила Любовь Иосифовна своего подопечного, что даже отчество переврала!). Поговорим в следующий раз. Своим молчанием Вы только себе вредите. Ведь Вы же боитесь нашего заключения. Скажите, боитесь?

— Нет. Не боюсь.

— Ну хорошо. Идите. Вопросы есть у Вас?

Я спросил, как мне заказать выписанные окулистом очки.

— Я даже не знаю... Пошлите рецепт жене в письме...

— Это будет очень долго. Вы же отправите письмо следователю.

— Конечно. Мы все письма посылаем через следователя.

— А то, что я посылал на днях на имя тещи? Коротенькое, с просьбой о фруктах?

— И его тоже.

— Значит, Яков Лазаревич меня обманул. Да и Вы тоже. Ну хорошо. Я могу быть свободен?

— Да. Но Вы пошлите все-таки рецепт. Разве следователь не передаст его жене? И письмо напишите. Может быть, мы и пошлем, судя по содержанию. Почему Вы не напишете? У нас все пишут.

Она так настойчиво уговаривала. Ну конечно, ведь письма — тоже метод изучения психического состояния.

Поразмыслив, я решил: а почему бы и нет? Конечно, я не сомневался, что следователь упрячет письмо в свой сейф. Но если уж так хочет Любовь Иосифовна произвести психиатрическое исследование моего письма,

почему бы не представить ей такую возможность? Пусть останется лишний документ, подтверждающий мою здравость.

И я потратил два следующих дня, благо это были суббота и воскресенье, «тихие» дни, на сочинение большого письма Нине. Писал и с расчетом на Любовь Иосифовну, в частности описывал свое впечатление от института:

«Чувствую себя хорошо. Обстановка, весь стиль жизни в стенах института совершенно иные по сравнению с тем миром, в котором до сих пор обитал. Ну, начать с того, что вокруг полно совершеннейших чудес, вроде паркетного пола, клеёнки на столе или настоящих простыней. Впервые за полгода пью молоко и нахожу, что оно весьма не вредит моему пищеварению. А самое главное — отдыхаю от металлического лязганья, табачного смрада и в особенности — от матерщины. Долго ли продлится это очарование — не знаю, думаю, что не больше месяца. Как ни странно, но эта усталость, эта нега хоть и лечат, одновременно томят: то ли через свою очевидную бутафорность, то ли потому, что, выражаясь языком французского классицизма, «бездна зовет своих детей». Так или иначе, стараюсь использовать случившуюся передышку в полном объеме...»

И еще. Здесь прямо указал, что понимаю, для чего Любви Иосифовне понадобилось мое письмо:

«Выписали мне новую коррекцию, и если мой врач, когда будет исследовать это письмо с точки зрения психиатрии, вложит в него рецепт (я попрошу об этом), то ты закажи мне эти очки, пожалуйста...»

Ушло письмо. Не знаю уж, что почерпнула из него моя докторица. На мой диагноз, оно, конечно, не повлияло, так как не на уровне Любви Иосифовны решалась моя судьба. Но формальности были соблюдены. То есть проведено и такое исследование.

Письмо, конечно, так и не дошло до жены. То ли у следователя застряло, то ли к «истории болезни» подкололи. Ведь признали здоровым — пригодится как подтверждение!

Психологическое исследование

Еще когда водили на рентген на 2 этаж, я видел дверь с табличкой «Психологический кабинет». Рядом висело световое объявление: «Без вызова не входить».

Об этом кабинете слышал и от зеков. Водят туда якобы всех перед комиссией, как на заключительное исследование, — там «проверяют умственные способности». Говорили, что в кабинете устроены отдельные боксики-кабинки, как в некоторых юридических консультациях, и в каждой из них врач занимается отдельно со своим пациентом. Будто в исповедальне!

Суть исследования заключалась будто бы в проверке сообразительности, смекалки, общего кругозора. Рассказывал Саша Соколов о каких-то карточках-тестах с изображением различных предметов; их нужно было группировать по однородности. Витю Яцунова спросили: во сколько процентов он оценивает свой ум, если ум гения принимать за сто процентов? Чипполино-Лукиянову задали целую задачу: курица живет три года, а сколько будут жить полкурицы? Кажется, он не сумел решить. Впрочем, умственные способности этой луковой головушки можно было бы определить и без столь сложной математики...

6 февраля, после обеда, за мной пришла медсестра.

— К врачу.

Снова повела в «актовую» комнату. Только на этот раз во внутренний кабинетик. Там были два небольших кабинета, справа — Лунца, слева — Ландау. Меня ввели в правый. Я увидел Любовь Иосифовну и незнакомую круглолицую немолодую женщину в позолоченных очках. На ней вообще было много блестящих, золотых вещей: серьги, кулон, пальцы унизаны перстнями. Перед этой женщиной стоял деревянный ящик с картонными карточками.

— Садитесь, Виктор Александрович, — сказала Любовь Иосифовна. — Понимаете, сейчас нужно будет пройти небольшое психологическое испытание. Это все проходят. Очень несложно... Конечно, Вы можете отказаться, но это же в ваших интересах. Вот врач (она назвала золотоносную женщину по имени-отчеству) даст Вам несколько заданий.

Женщина в очках кивала головой в такт ее словам.

— Хорошо. Что я должен делать?

Мне дали лист бумаги, на котором были напечатаны в столбец двузначные числа. Их следовало суммировать по два. Всего было 6-8 рядов, примерно по 20 чисел в каждом. Давалось какое-то время. Дама щелкнула секундомером, я начал считать. Вообще раньше видел когда-то такие задачи в журнале «Наука и жизнь», в разделе «Психологический практикум». Стоп! В общее время я уложился, хотя на некоторых столбцах — нет. На каждый, оказывается, отводилось 20 секунд.

Затем было предложено запоминать слова. Сколько запомню из десяти произнесенных слов: «Лампа... часы... стол». Запомнил шесть. От остальных вариантов опыта отказался.

Женщина-психолог подала мне четыре карточки-картинки.

— Исключите один предмет, неоднородный.

На картинках были изображены будильник, часы карманные, часы настенные и пятикопеечная монета. Я изъясил пятак. Сказал, что возможны и другие однородности, хотя не трех-, а двухрядные.

— Какие же?

— Ну, скажем, два предмета с цифрой «5»: пятак и одни часы, показывающие пять часов... Другая однородность: предметы карманные и не карманные... Это Вас устраивает?

— Да, — заметила психолог, — у Вас не банальная фантазия.

Долго упрашивала продолжить опыт. Так просяще дрожали в протянутой руке картинки, что я пожалел ее — взял.

... Пистолет. Кивер, гусарский... с султаном. Барабан. Зонт. — Исключил последний.

— По какому принципу оставили предметы?

— Все милитаристское.

...Кузнец с молотом. Пильщик дров. Жнец с серпом... Господи, какая архаика! На четвертой карточке — мужчина в кепочке лежит, заложив руки под голову, на траве под деревом. Его и убрал как ... тунейдца.

...Посзд. Пароход. Воздушный шар. Самолет (древний фанерный бипланчик). Вообще карточки были старые-престарые, должно быть, сам дедушка советской судебной психиатрии профессор Сербский еще ими пользовался!

— Что Вы задумались? Что исключите?

— Монгольфьер.

В один голос: — Что? Что?

— Шар воздушный. Первый воздушный шар, по имени его изобретателя. Почему-то все время нужно исключать самое приятное.

— Как это так?

— Ну, на прошлых картинках — отдых на траве исключили, работяг оставили. Теперь монгольфьер.

— А почему это — приятное?

— Путешествовать на воздушном шаре? А разве нет? Мечта всей моей жизни. Еще с детства, с жюль-верновских «Пяти недель на воздушном шаре». А Вы предпочитаете бензиновые тарахтелки?

Перебрал еще несколько картинок. Надоело.

Следующие картинки были интереснее. Симметрично раздвоенное разноцветное пятно — сажают на лист цветную кляксу, прижимают другим листом, а потом развертывают. Нужно было сказать, что напоминает каждый такой узор. На первом были будто бы две фигурки с развевающимися фалдами.

— Два дирижера делят курицу славы.

— Как Вы сказали? — психолог бросилась что-то записывать.

— Это из Маяковского. «Разрежем общую курицу славы и выдадим всем по целому куску». Вот здесь два дирижера именно этим занимаются.

— Ну и фантазия! А это?

— Бабочка «Мертвая голова».

— А почему мертвая?

- Я уж не знаю, почему ее так назвали.
- Все-таки, почему у Вас такие ассоциации? С мертвой головой?
- Не знаю. Вижу так. Видение ипохондрика, должно быть.

Поиграли еще недолго. Затем я сказал, что довольно, больше заниматься этим не буду.

Под занавес, пока психологическая дама собирала свой небогатый реквизит, поговорили с ней о Фолкнере. Не помню уж, как возник разговор, но оказалось, что она любит и ценит Фолкнера. Недавно прочла «Шум и ярость». А я вот не читал... Поговорили о Кафке, Джойсе. Дама оживилась, показалось, что разговор этот она вела охотнее, чем свое исследование. В общем, мне она понравилась.

Методы исследования. Глава 2: «Субъективные» методы

Психологическое обследование, о котором я только что рассказал, было вершиной, кульминацией психиатрической экспертизы в институте имени Сербского. Оно да энцефалограмма — вот, пожалуй, и все запоминающиеся методы. Ничего больше не было в этом знаменитом, разрекламированном, научно-исследовательском учреждении — никаких изящных экспериментов, никакой хитрой и тонкой технологии, никакой выдающейся, на уровне века, науки. И судьба наша, таким образом, зависела от суждения (читай: от желания) наших врачей.

Вот я и подошел к тому, что называю субъективными методами, т.е. к разным видам наблюдения.

Основное представление о психическом состоянии порученного ему зека врач получал из уголовного дела. Хотя и не должен бы, вроде, получать. Но врачи не утруждали себя первопоиском — они брали за факт стасованные следователем сведения и строили из них свою модель.

...Ага, в школе учился плохо? Оставался на второй год? — психическая аномалия.

...Ах, с тещей ссорился? Грозил, как она показывает, ей «уши отрезать»? — О, это уже мания, агрессивный бред.

Ну и т.д. Расскажу о своем деле — анекдотичный, но характерный факт.

Ретивый следователь Владимирской областной прокуратуры Дмитриевский поехал после моего ареста на Украину, в г. Умань, где я жил свыше трех лет назад. Допрашивал там многих, в том числе и директора витаминного завода, на котором я работал, М.Ф.Чернявского. Последний, сводя старые счеты, конечно, рассказывал обо мне всякую несусветицу, в том числе (и это записано в протоколе его допроса от 21.08.73 г.) сказал вдруг следующее:

«Мне говорила Костенко, что Некипелов приглашал ее на вечера свободной любви»...

Стоп. «Вечера свободной любви...» Тут надо сделать некоторое пояснение.

Когда-то, в 1969 году, в день 8 марта, я прочел на небольшом банкете в заводской лаборатории, где тогда работал, несколько своих стихотворений, в том числе «Кизиловый лес» — лирические, интимные стихи:

...Мы вышли б, наверно, на берег иной,
 чего-то сказать не умея,
 но ты — наступаешь босою пятой
 на скрытого в ягодах змея!

Мы падаем вместе, сплетаясь в одно,
 в пуховую алость кизила.
 О нет, мы не блудим, — мы давим вино
 для тайного, светлого пира!

Об этом выступлении, конечно, тотчас донесли директору. А у нас с ним уже назревал конфликт на почве моей борьбы с показухой и очковтирательством на заводе, и Чернявский копил мой «криминал». Вот и эти стихи были туда занесены. Он так их потом интерпретировал, выступая на одном из собраний: «Некипелов пропагандирует свободную любовь!»

Слово было произнесено, заметьте. «**Свободная любовь**». Это 1969 год. А 21.08.1973 года в разговоре со следователем Чернявский еще более искажает: «Мне говорила Костенко, что Некипелов приглашал ее на **вечера свободной любви**».

Следователь заинтересовался. Человечишка жалкий и пакостный, ему это тоже интересно — «вечера свободной любви»! Это, конечно же, что-то недозволенное, непотребное, а может быть ... и психически ненормальное?..

24.08.73 г. он допрашивает Л.И. Васильеву, работницу заводской лаборатории, моего сослуживца. В ее протоколе — угодливое: «Да, я что-то слышала о вечерах свободной любви».

В тот же день допрашивается А.С. Костенко, также работница лаборатории и моя соседка по квартире. Запись: «О вечерах свободной любви с сухим вином (!) я знаю от Петрович (тоже моя сослуживица — В.Н.), но Некипелов меня туда никогда не приглашал».

Круг замкнулся. Ничего конкретного выяснить не удалось, «очевидца» не сыскали. Хотя слово осталось. Да еще обросло некими пикантными подробностями вроде «сухого вина». И диффамация, конечно, осталась.

И вот, не веря своим глазам, читаю в заключении первой, амбулаторной психиатрической экспертизы (в г.Владимире, 14.09.73 г.): «Некипелов

принимал участия в вечерах свободной любви с сухим вином». Здесь уже говорится об этих злосчастных вечерах как об абсолютном факте, к тому же чуть не подтверждающем мою психическую нездоровость!

Думаете, на этом кончилось? Как бы не так. Любовь Иосифовна (старший научный сотрудник, кандидат наук!) тоже проявила живейший интерес к практике «свободной любви». Я рассмеялся ей в лицо. Тем не менее, «вечера свободной любви с сухим вином» перекечевали и в акт экспертизы института имени Сербского.

Кто бы мне все-таки объяснил, что же это за вечера такие?

Материалы уголовного дела проверялись врачами при беседах с испытуемыми. Собственно, это были те же допросы, только с психиатрическим уклоном. «Почему ты это сделал?» — «Как ты это сделал?» — «Что ты чувствовал при этом?»... Собирали «катамнез» — психиатрическую предысторию. Расспрашивали об условиях жизни, о детстве, учебе в школе, взаимоотношениях с родственниками и окружающими. Не вспльчив ли, как память? Неизменно задавался вопрос: «Были ли ушибы головы?» Все «тюлькогоны», конечно, говорили: «Да, да!» — и рассказывали всякие страсти.

Беседы с врачами проводились у кого как, но в общем-то не часто. Володю Шумилина в течение месяца вызвали два раза, Витю Яцунова — один. Мне в этом отношении «повезло» — за два месяца состоялось **четыре** беседы, хотя из первых трех немного почерпнула Любовь Иосифовна. Уровень этих бесед был примитивен, вопросы банальны.

Существенным моментом для заключения было наличие психологического или даже нервного заболевания в прошлом. Скажем, сотрясение мозга, подтвержденного справкой. Нахождение на учете в психиатрическом диспансере было прямой путевкой в «дураки», таких признавали в 80–90% случаев.

Широко практиковались письменные «исповеди». Врачи предлагали зекам описать «как все было» или изложить свой «бред», свою программу. Я думаю, врачам это было удобно чисто диагностически — отыскивать психические несообразности в текстах. И разоблачать симулянтов так было проще, ибо создать «шизофренический» текст — дело нелёгкое. Так или иначе, зеки шли на это охотно. Писали целые трактаты Розовский, Шумилин.

Иногда врачи вызывали на беседы родственников заключенного. Это касалось в основном москвичей или подмосковных. Вызывали, например, жену Игоря Розовского, маму Вити Яцунова. Хотела Любовь Иосифовна вызвать мою тещу, но я не дал адреса. Предлагал вместо нее вызвать жену (хотелось, чтобы Нина увидела эту психиатрическую даму), но Л.И. сказала, что это невозможно, так как жена живет во Владимирской области.

— Понимаете, это связано с расходами, ей же надо проезд оплатить, а у нас в институте на это средства не отпускаются...

Последним, очень существенным из субъективных методов был надзор — постоянный и неприметный — со стороны среднего медперсонала, а главное — няnek. О, это были неусыпные и бдительные стражи, глаз и ухо врача (то бишь, государства), и едва ли не они говорили то последнее «да» или «нет», которое врачи облакали потом в ученую мишуру медицинской фразеологии. Да, я без преувеличения скажу, что нянька в институте имени Сербского едва ли не «главней врача», ибо это основной (и едва ли не самый точный) «прибор» советской судебной психиатрии. Грустно, конечно, размышлять о том, что эти полуграмотные, невежественные тетki держали в руках наши судьбы и управляли в этом случае «самой передовой в мире» наукой, и что основным методом исследования в главном институте было обыкновенное подглядывание и доносительство. Но что сделать! Ведь все это, в конечном счете, тоже явление государственной психологии, государственных установок, доносительство в нашей стране всегда было делом государственным.

В отделении вели какой-то журнал наблюдений. Записи в нем делала дежурная сестра, а материал поставляли няньки. Я даже видел его однажды в руках у сестры — толстая, затертая книга. Еще как-то Анна Федоровна говорила Вите Яцунову:

— Ты что, хочешь, чтоб в журнал записали? Ты же знаешь, что туда все сведения о вас записываются.

Писала туда каждая смена, о каждом. Как ел, спал, кричал ли ночью, чем занимался, с кем говорил... Интересно было бы полистать эту книжищу!

«Задыхась от счастья, от света...» (И.И.Розовский)

Он возник изваянием на пороге палаты. Ладони были сложены на груди шалашиком, как при восточном приветствии, черные глаза-маслины смеялись. Смоляная, с преждевременным седым клоком челка набок. Он отвесил поклон и застыл у дверей, глядя на меня выжидающе.

— Вы что-то хотели?

— О да. Мне сказали, что Вы пишете стихи. А ведь и я тоже.

Господи, еще один поэт! Видно, за этими стенами их так же густо, как рыжих. Может, это тоже один из признаков психической аномалии?

— Ну заходите. Присаживайтесь. Читайте Ваши стихи.

... В Игоре Исаевиче Розовском было необычно все: от биографии до преступления. Он был сыном известной ткачихи-стахановки сталинской поры Дуси Виноградовой. Помнил время ее придворной славы, ребенком у Сталина и Молотова на коленях сидел. Правда, этим Игорь не бахвалился. Отец был евреем, работал артистом Ивановского драмтеатра. Когда Дуся пошла в гору и переехала из Иваново в Москву, артист провинциальной сцены, конечно, перестал быть ей парой, они разошлись. Игорь отца знал мало.

Сейчас отец работает артистом какого-то русского театра в Средней Азии. Знаменитая ткачиха несколько лет назад скончалась, а ее незадачливый отпрыск, совершив «преступление против социалистической собственности», отправился теперь на своем плоту в сложное плавание по гулаговским протокам.

Он сидел сейчас передо мной и читал стихи. Улыбался, шутил, каламбурил. Как какой-нибудь денди в кафе за коктейлем. А ведь в случае признания его вменяемым ему грозил срок от пяти до пятнадцати лет! Бесшабашность, непрактичность, излишняя доверчивость и неразборчивость в средствах — вот преобладающие свойства характера Игоря. Весь он — «слабое добро безвольной сути», как сказал хороший поэт Ю. Домбровский. Видимо, эта «суть» и довела его до преступления. Игорь обвинялся по статье 92 — «Хищение путем растраты или злоупотребления служебным положением». Он заведовал небольшой мастерской по ремонту ювелирных изделий из серебра на Кузнецком мосту. Любил деньги и красивую жизнь. Увлекался тотализатором. В мастерской принимали заказы без выдачи квитанций, что-то там мухлевали с серебром. Еще имели «левый» доход от заправки шариковых ручек... Кузнецкий мост — место бойкое.

В общем, все было как в обычном советском учреждении т.н. бытового обслуживания. Однако случилась осечка. С кем-то не поделились, кому-то не угодили. Сдается, он говорил про какие-то подарки начальству, это известная, принятая форма откупа. Я склонен думать, что увлекся Игорь в силу широты своей натуры и махнул рукой на бухгалтерию. Не хочу его обелять, но, видимо, сам он меньше взял, чем другие. Кто-то более ловкий там двигал, руководил, Игорь же был просто ширмой. Ну а расплачиваться, естественно, пришлось ему одному. Ревизия определила сумму растраты в 6 или 7 тысяч рублей. Конечно, у него глаза на лоб полезли от такой цифры. Но хочешь не хочешь, а материальное лицо — он. Игоря арестовали.

Характерно, что начальство, как он говорил, хотело замаять дело. Надо было только внести эти тысячи в кассу. Но у Игоря их не было. Кроме того он все не верил в случившееся, надеялся, что это ошибка, что распутают. Внес только тысячу, чем еще больше усугубил: ах, ты вносишь! значит признаешь? — значит виноват.

В тюрьме Игорь «закошил». Даже еще до ареста: взял и лег в психбольницу. У него и «подпочва» была — в юности уже лежал, состоял на учете в психодиспансере. Из тюрьмы снова повезли в 15-ю больницу. Вроде признали. Уже аминазин ел горстями. Потом вдруг снова взяли в тюрьму, оттуда — в Сербского.

Игорь был воспитанный, культурный и избалованный московский пижон, этакий сибарит, с движениями плавными и округлыми, холеный, сытый. Должно быть, сказались условия если не при-, то околосредовой жизни.

Имел успех у женщин. Во всем его облике была этакая, видимо, от отца унаследованная артистичность. Она проявлялась в движениях, в голосе, в улыбке. Он любил и умел рассказывать. Остроумный, насмешливый, едкий, — характеристики его, касались ли они сопалатных зеков или врачей, сестер, были точны и ярки. Это он наградил лукоголового мальчика Лукьянова кличкой «Чипполино». Прилипло. Отделенческого вертухая, одной из обязанностей которого было зажигать спичку для зеков, желающих перекурить, окрестил Прометем. Он же пустил по отделению крылатый каламбур: «Наша жопа, как резина, — не боится сульфазина». В общем, это был талантливый человек, только на дурных подмостках досталось ему играть.

И «бред» у Игоря был тоже изящный, я бы сказал, аристократический. Он закосил по линии ... спортивного коневодства. Ипподромный завсегдатый, игрок, — Игорь обладал обширнейшими познаниями по части лошадей. К тому же память у него была феноменальная: он помнил когда и где, какая лошадь показала тот или иной результат. Мы только диву давались, слушая, как он чеканит:

— В 1949 году, в Ленинграде, жеребец Алладин (от Алмаза и Дианы) в забеге на 10000 метров показал столько-то минут...секунд.

— В 1902 году знаменитая Верба, дочь Верного и Балерины, в забеге для двухлеток на 2000 метров...

Цифры вылетали из него, как из арифмометра!

Игорь был энтузиастом отечественного коневодства, причем его интересовала в основном одна порода — русский рысак. Он считал (конечно, не без оснований, а оперируя точными данными), что в СССР это нужное дело сейчас в загоне, год от году ухудшается, порода вырождается, сникает. Если до революции русский рысак гремел на беговых дорожках мира, то сейчас заводы захирели, и мы вынуждены покупать за валюту беговых рысаков русской породы за рубежом!

На этом и был основан «бред» Игоря. Любовь к лошадям и толкнула, мол, его на преступление. Да, он брал деньги из кассы, но не на собственные же прихоти их тратил, а на помощь русскому рысаку через тотализатор! Болея за отечественное коневодство, он не видел другого способа ему помочь.

Все это Розовский горячо и убедительно втолковывал следователю, врачам, нянькам. Он готов был остановить любого встречного, взять за пуговицу и говорить, говорить о плачевном положении советского коневодства. По заданию лечащего врача Валентины Васильевны Лаврентьевой, долго писал какой-то труд о русском рысаке. Читал его и нам. О, это был серьезный и взволнованный трактат, я не уверен, что конный спорт в СССР располагал когда-нибудь лучшим обзором.

Розовский писал стихи. Давно. Любимым поэтом его был Ронсар. Есте-

ственно, что теперь, «завернувшись» на коневодстве, он широко использовал «конскую» тему. В каждом стихотворении хоть какая-то «конская» деталь должна была присутствовать. Облака сравнивал с гривами коней... бой часов — с конским топотом и т.д. Вот несколько образчиков его творчества. Писал он очень много. Стихи у него были лаконичные и емкие.

Глаза закрою: зелень пастбищ,
и жеребенок в синей мгле.
И на душе как будто праздник,
и звуки струнные во мне... или:

Ну скажите, зачем мне все это
Без моих долгогривых коней?
Задыхаюсь от счастья, от света,
от бездушья хороших людей...

Стихи он читал врачу, сестрам. Каждый раз, написав новое стихотворение, он мчался мне его прочесть; наверное, я был первым слушателем и критиком его стихов.

Я посоветовал Игорю подпустить в стихи мистики, пусть слышится этакая обреченность, рок. Он учел мигом:

Белое с белым, черное с черным,
Все справедливо, кажется ровным.
Где же различье? Где безразличье?
Сердца наличье. Мысли двуличье.
Где же начало? Путь и причалы?
Где же меня той волной укачало?
Все справедливо, все справедливо.
Косая грива очень красива.
Где-то рыданье. Где-то проклятье.
Дайте коня мне. В руки распятье.
И мне не надо другого понятия.

Еще одно:

Не уйти. Не уйти.
Ведь вокруг — чертов круг.
Белый вид. Белый свет,
Черный смех
Позади.
Ты уйдешь.
А они
Зубы скалят, галдя

Про меня, про коня.
 Ведь вокруг —
 Чертов круг.
 Только слышно:
 — Ау!..
 — Ландау! ... Ландау!

Мы хохотали с Володей Шумилиным, когда он читал это, — завывая, имитируя гугнявый прононс Якова Лазаревича: «Ландау-у! Ландау-у!»

К моему делу Игорь относился с пониманием, сочувствовал возможности признания меня больным. Он и сам был в достаточной степени инакомыслящим. Свои чувства выразил однажды в шутивном стихотворении, которое и преподнес мне, улыбаясь.

Слышен отзвук ростовских расстрелов,
 танков красных кровавый парад.
 В желтом доме сидит Некипелов
 в полосатых пижам-кандалах.

Вот таким был этот стахановский сын. Скажу еще раз, что достоин он был лучшей доли. Ну, коневодом, консультантом каким-нибудь по русскому рысаку, он мог бы стать здесь немалым специалистом. Серьезно, доверь Игорю Розовскому организацию спортивного коневодства в нашей стране — и я не сомневаюсь, что оно возродило бы свою былую славу.

К сожалению, Валентину Васильевну эта слава мало беспокоила, Игорь был признан здоровым, и 26 февраля 1974 года нянька тронула его за плечо:
 — Собирайся, голубчик.

Все. Щеки у него побелели, как у Арлекина. Этап на Матросскую Тишину.

Так был обречен на дальнейшее захирение славный род русского рысака. Я не поклонник и не знаток, но сожалею об этом искренне.

Постскриптум.

В дальнейшем, как я узнал от сестры Игоря, он еще долго боролся с советской Фемидой. Вновь лежал в психбольнице, еще дважды (!) был в институте Сербского, однако «карающий меч» настиг его: в октябре 1975 года все-таки состоялся суд, приговоривший Игоря к 10 годам лагерей усиленного режима. Осталась в Москве жена с малолетней дочкой, осиротели рысаки. Нет, я не склонен прощать, поощрять расхищение и воровство. Но все-таки не таким же драконовским сроком его карать. Ведь эти 5-6 тысяч государство все равно с Игоря взыщет. Но зачем же жизнь-то ему напополам, по хребту ломать?

А может, и на самом деле был болен Игорь — вот этой необычной и прекрасной конской манией своей? Тогда неснимаемый грех, серьезная вина

ложатся на плечи Валентины Васильевны, Маргариты Феликсовны и иже с ними.

Ведь если преступление — здорового признать больным, то разве меньшее преступление — не признать больного? И отправить его на мордовский лесоповал на 10 лет?

А как Вы считаете, Валентина Васильевна?

«...Задыхаюсь от счастья, от света,
от бездушья хороших людей...»

Из дневника. 10 февраля 1974 г.

Закончил чтение третьей книги «Былого и дум», его самых взволнованных и трагических страниц — «Рассказа о семейной драме». Сколько боли, тоски, страдания. И все же чувствую, что Герцен, при всей откровенности, чего-то не раскрывает, не договаривает до конца. Пусть Гервег пошел, ничтожен, но разве дана ему возможность оправдаться, выговориться, что-то объяснить? Не знаю почему, но рядом с чувством сострадания к Герцену и муки за Натали — пронзительная жалость к Гервегу...

...Сегодня день передач, и я ждал, а ее не оказалось в обычный утренний час. День тянулся, как вечность, и по мере приближения к 17.00 часам (конец приема передач) росла тревога: раз не пришли, значит что-то случилось — с детьми, с мамой, может, и с самой Ниной. Как балует и ослабляет нас привычка к ласке! Передачу принесли почти в 17.00, и сразу пришел покой. Перечень — рукой Нины. Передали яблоки, яйца, сгущенные сливки, колбасу, сыр и т.д. Два пакетика драже «Горошек» — от Жени? Немного шоколадного ассорти — из чьей коробки? Знать бы, как собираются эти дорогие сюрпризы... Сеточка-авоська, в которой все это приплыло, незнакомая, желтенькая, не было у нас такой.

Расписавшись в получении, сделал приписку, — чтобы передали немного денег. Как забавно и грустно думать, что Нина была где-то совсем рядом, может быть, проходила по улице мимо той скважины-арки, через которую видна из нашего оконца московская жизнь...

Что есть деньги? (В.Шумилин)

Володя Шумилин, московский инженер-экономист, был человеком совсем другого психологического склада. Если Игорю Розовскому мешал избыток артистичности, то Володю отличало полное ее отсутствие. Именно эти причины, на мой взгляд, и помешали обоим остаться в психиатрическом «раю».

Володя был очень милый человек. Добрый, ненавязчивый, скромный. Даже застенчивый: в минуты неловкости его круглое, чистое лицо залива-

лось таким малиновым румянцем, что у вас на душе становилось ласково и хорошо. Несмотря на свои 38 лет, он был очень целомудренным, чистым внутренне человеком. Вот это да, скажут, вор — и вдруг «целомудренный»!

Да, целомудренный. И никакие ярлыки не поколеблют моего мнения, основанного на личном общении. Я вообще отвергаю такие ярлыки, ибо теперь, после близкого знакомства с системой «преступления и наказания» в СССР, после своей, хоть и непродолжительной, экскурсии в глубины уголовной жизни, утверждаю: уже упоминаемое мною «внутреннее убеждение» советских следователей **никогда не основывается на психологии**. А степень так называемой «вины» определяется формально и бездушно.

В общем, Володя не был злодеем. Добрый и слабый (как часто ходят об руку эти свойства нашей души!), запутавшийся в жизни человек. В нем было много детского, наивного. Этой детскостью окрашено, как вы сейчас увидите, и его «преступление».

Володя окончил финансово-экономический институт и работал начальником финансов крупного авиационного завода в Москве. Что в районе стадиона «Динамо» кажется, №7. Он был женат, однако в семейной жизни случилась трагедия: Володя полюбил другую женщину. А уйти из семьи не мог, так как был очень привязан к двум своим дочерям. Жена понимала Володины терзания, кажется, даже предлагала взять одну дочь и уйти, но та — другая — женщина не хотела такого решения, хотя тоже любила и тянула к себе Володю. У нее свой ребенок был, который почему-то его не принимал. А девочки не хотели, чтобы папа из дома уходил... В общем, запутался Володя, разрывая свое и без того не очень крепкое сердце. Стал попивать. А тут вдруг... Еще за час-два до случившегося Володя едва ли мог себе представить, что произойдет.

Однажды вместе с кассиром получали в банке зарплату для завода. Какая-то очень большая сумма. В портфель кассира все не вошло, часть денег взял к себе в папку Володя. Обратного почему-то поехали порознь. Ну и...

— Не могу этого объяснить, — говорил он мне. — Лежали зелененькие, красненькие бумажки, много их было...

Решение пришло мгновенно. Ну разве не детская фантазия, бесхитростная и смешная? Он позвонил своей любовнице и предложил ей... немедленно поехать с ним на юг, в Сочи. «Какие Сочи? С чего это вдруг? Ты с ума сошел!» — «Не спрашивай ни о чем. Поедем. Я хочу отдохнуть».

— Понимаете, никогда не был на юге. Все ездят. Сочи, Сочи!.. Вот и я решил.

Решил поехать к подруге после работы. Надеялся, что все-таки уговорит. А пока отправился к тетке, кажется, в Малаховку, чтобы спрятать у нее свой «миллион». Тетки дома не оказалось. Разменяв одну бумажку, где-то

выпил для поддержания духа. Сигарет купил. Шоколаду...

А по московским улицам уже шел розыск незадачливого Креза. Когда к 5 часам вечера приехал к дому подруги, за углом уже стояла легковая машина с муровцами. Взяли Володю под белы ручки... Даже и любимой не увидал. В папке оказались наличко все 10 тысяч — без 6–8 рублей, которые прокутил в Малаховке.

Обвиняли Володю по статье 93 — «хищение в особо крупных размерах». (По советским законам тяжесть кары зависит от стоимости похищенного. По ст.93-1 квалифицируют хищение на сумму 10 тысяч рублей и выше. Как раз столько в папке и оказалось... И еще. На практике кража денег всегда наказывается сильнее, чем кража имущества на ту же сумму.) Статья жуткая: «...от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества, со ссылкой или без таковой, или смертная казнь с конфискацией имущества». И это не важно, что незадачливый похититель не успел даже деньги пересчитать, ибо, как гласит закон (п.27 «Научного комментария» к ст.89 УК РСФСР): «Успел ли виновный использовать похищенное имущество... не имеет значения для признания кражи оконченным преступлением».

Не знаю, кто подсказал Володе идею психиатрической обороны. И сюжет, что он избрал, был довольно интересен. А может, и никакая не придумка, может, так и было в подоплке своей?

В общем, Володя заявил следователю, что это был... сознательный акт протеста против денежной системы. Дескать, он всегда ненавидел «презренный металл», уродующий человеческие отношения, и считал, что все зло в мире — от денег. Специально поступил в финансовый институт, дабы понять, что такое деньги. После окончания долго наблюдал, в частности, на своем заводе, как денежная система, наличие денег уродуют нашу экономику. Помнил слова Ленина о том, что при социализме деньги будут отменены, считал, подобно коммунарам двадцатых годов, что «подгонка рублем» для граждан социалистического общества столь же унижительна, как «подгонка дубьем» при помещике. Страдая от невозможности что-нибудь сделать в борьбе с этим всеразьедающим злом, не видя выхода ни для себя лично, ни для человечества (к тому же безнадежно запутавшись в личной жизни), Володя решил покончить с собой. Но как? Наложить на себя руки не хватало смелости, тогда и решил: если источник всех зол — деньги, то пусть этот молох его и убьет. И он задумал совершить крупную кражу, такую, что карается смертной казнью. Он так рассуждал: если это безнравственное государство пуще собственного глаза лелеет Золотого Тельца, то пусть оно и убьет его — жертву чистой идеи — на этом грязном жертвеннике...

Вот такой интересный и трагический бред. К сожалению, на развитие самой идеи, на ее, так сказать, сценическое воплощение, на игру — у Володи попросту не достало фантазии. «Деньги — зло, деньги — зло», — твердил

он своему врачу, не согрев эту мысль выдумкой, не придав ей сюрреально-го, чисто «шизофренического» размаха и блеска. Он тоже писал «ученый трактат», но насколько же бледнее выглядело это творчество по сравнению с работой Розовского! Произведение Володи напоминало худой пересказ записной брошюры на тему «Классики марксизма-ленинизма о денежных отношениях при социализме».

— Энергичнее надо, смелее! — внушал Володе перебравшийся в нашу палату большой дока по части психиатрии Семен Петрович Б. (к сожалению, он пришел уже после того, как Володя сдал свой доклад врачу). — Что Вы как кот за хвост тянете: «Деньги — зло, деньги — зло»? Ну и что из того? Вы действие дайте, действие! Схватили бы тогда горсть десяток и подожгли их! Ну хорошо, не успели. Так сейчас делайте! Нарезьте бумажек, Ленина нарисуйте на них! И жгите, жгите по углам, под кроватью! Ничего, не все еще потеряно. Наклейте плакат в сортире: «Голосуйте на выборах за меня! Я отменю деньги!» А на суде листовки разбросайте... Произнесите речь. Вот так, вот так! — он выбрасывал вверх руку и делал страшное лицо.

— Да, да, — оживлялся Володя. — Вот так, Вы говорите? А в листовках что написать?

Нет, не мог он. Прямодушная, простая душа, — попросту не умел хитрить и играть. Увезли его тоже в понедельник, тотчас после комиссии. Очень мне было его жаль.

А накануне, 3 марта, получил он передачу от своей возлюбленной. Так давно ждал и именно от нее, жена забыла после ареста, отказалась. На одном из вареных яиц на скорлупе было написано тоненько, мелко карандашиком: «Я люблю тебя, мой глупый, мой дорогой!» И Володя заулыбался, вспыхнул своим замечательным румянцем, долго, как мальчишка, прижимал к щекам и губам заветное яйцо. И на следующий день легко, с той же просветленной улыбкой, ушел на свою Голгофу.

Братья мои — уголовники

Возможно, мне скажут: а не перекладываю ли я розовой краски, не чересчур ли вольно пишу? Сентиментальный убийца Никуйко... целомудренный вор Шумилин... Не слишком ли осветленные типы выходят из-под моего пера, и что это, как не оправдание преступников, идеализация уголовного мира?

Нет, не идеализация. Попытка понять этот мир, рассмотреть, из кого он состоит. Кто они — уголовники, эти парии нашего общества, осужденные и отвергнутые им, эти люди, которых мы обычно стараемся не видеть, не знать, не замечать? Братья они наши, или нет?

Я знаю, что есть два подхода, две точки зрения на проблему. Одни счи-

тают, что уголовники, уголовные преступники, набивающие наши лагеря и тюрьмы, суть (по их взаимоотношениям с обществом, по их психологии, быту, нравам, морали и т.д.) отщепенцы, отребье рода человеческого, закосневшее в жестокости и безбожии, а часто — просто биологически порочные, ущербные особи, в которых нет ничего человеческого, достойного. В какой-то степени эта линия восходит к «Запискам из мертвого дома» Ф.М.Достоевского.

Другая точка зрения имеет в своей основе чеховский подход, так полно и прекрасно выраженный им в «Острове Сахалине». Конечно, могут сказать, что Чехов был сторонним наблюдателем и сам с уголовными каторжниками не сидел. Но эта линия включает в себя и свидетельства такого замечательного знатока уголовной психологии, как В.Г.Короленко.

Мне кажется, расхождения эти чисто субъективного толка. Что касается меня лично, то мне, конечно, ближе вторая точка зрения. Так виделось, так было.

Да, многие герои моих очерков, почти все мои сотоварищи по этому своеобразному гулаговскому островку, что я назвал Институтом дураков, суть преступники, совершившие те или иные, порой тяжкие, преступления против личности и общества. За исключением Радикова, отчасти Матвеева. Ну и Каменецкого — тоже, подумаешь — прокурора оклеветал! Что же, за это — в яму бухарскую бросать? Ну, а Никуйко, конечно, — убил человека, и Розовский, хоть и смешно, — растратил казенные деньги. А Яцунов хулиганил, тиранил людей... И я не хочу в этом смысле оправдывать, обелять их. Но в то же время: не могу и не хочу продолжать их судить. Я же не уголовную хронику пишу, а очерки о судьбах и душах. Поэтому рисую их такими, как предстали они мне: доверчивыми и слабыми, растерянными и усталыми, страдающими и надеющимися. Я увидел их не так, как видит прокурор: сквозь другую щелочку, а главное — другим сердцем. Я различил в них много хорошего и об этом хорошем попытался рассказать.

Нет, я не обходил их преступлений, но в ракурсе их характеров, их психологии, эти преступления оказывались часто так невелики. И почти всегда — оправданы. А уж если не оправданы, то понятны.

При ближайшем рассмотрении: как часто люди эти сами были жертвы чьей-то чужой воли, рокового стечения обстоятельств, в конечном счете — порочного влияния общества, государства, системы.

Это были жертвы несовершенных и жестоких законов, в которых наказание часто совершенно не увязывается с фактической степенью вины...

Жертвы социальной несправедливости и неблагоприятия жизни в государстве, в котором мизерная заработная плата у большинства населения не дает возможности обеспечить элементарные потребности без преступления закона...

Жертвы личной неустроенности, уродливых семейных отношений, развращающего влияния улицы, алкогольного разлива...

И главное — жертвы безнравственности общества, в котором убита вера и извращены представления о добре и зле; общества, где все вокруг крадут, прячут, обмеривают, обвешивают, подливают в сахар воду и в цемент песок, уносят с заводов краску, ткани и говяжьих лытки, приписывают цифры, подписывают фальшивые акты, клеветают, подсиживают, доносят и лгут...

Конечно, я пишу об этих людях, жалея их. Такими они виделись и хочу верить — были такими по своей сути — большие и достойные жалости дети, больные пасынки больной, равнодушной к своим несчастным отпрыскам системы.

Я говорю сейчас не только об институте Сербского. И до, и после, в зловонных, переполненных камерах Владимирской следственной тюрьмы, в бараках уголовного лагеря, я встречал десятки похожих, таких же искалеченных судеб. И всегда сквозь коросту уголовной скверны, грубости, даже цинизма, стоило только поскоблить сильней, дохнуть теплом, прикоснуться сердцем — проглядывало человеческое, доброе, больное. И я смыкался с этими людьми, и любил в них — людей, и жалел их, и берег.

И называл их: братья мои.

И еще может возникнуть вопрос: а почему я уделяю так много внимания этим людям, какое отношение имеют их, хоть и интересные судьбы к проблеме использования психиатрии в СССР для подавления инакомыслия и политической расправы?

Не знаю. Я не могу этого объяснить, но — имеют. Эти люди встретились мне в том психиатрическом зазеркалье, в котором я, волею случая или судьбы (что, говорят, одно и то же), оказался два года назад, и в памяти моей навсегда в нем остались. Эта странная тюрьма, где на окнах нет решеток и надзиратели в белых халатах отражаются в паркетных зеркалах... Эти уставленные в потолок реактивные бороды... Все смешалось: жутковатая остекленевшая улыбка Пети Римейкаса — и «кукаревод» Ивана Радикова — и конские стихи Игоря Розовского, — все смешалось — вместе с доверительными «Ну почему Вы нам не верите?» Любви Иосифовны и бульдожьим оскалом Лунца — в единую ирреальную ткань, вошло в мой «психиатрический бред», в ту полуявь-полусон, в которых пребывал два бесконечных месяца. И я не могу разрушить мозаику: рассказывая об этом состоянии, я должен рассказать и о них...

Методы дозволенные и недозволенные

Наряду с рассмотренными выше, так сказать, дозволенными методами исследования применялись и те, что я считаю недозволенными. Одним из

них была т.н. растормозка. Суть ее заключается в том, что обследуемым, в тех случаях, когда они отказывались разговаривать с врачами или находились в реактиве, вводили возбуждающие (растормаживающие) химические средства, в результате чего люди, помимо своей воли, начинали говорить и выбалтывали скрываемое.

Я не знаю, дозволено ли это действие с точки зрения международного медицинского и юридического права. С точки зрения элементарной этики, мне кажется, нет. Я лично считаю его гнусным.

Действие таких уколов было показано на наших экранах в английском фильме «Меморандум Квеллера» и французском «Вы не все сказали, Ферран?». В обоих случаях отношение к методу негативное, уколы служат преступникам. В первом фильме шайка немецких неонацистов пытается так английского разведчика, чтобы выведать у него нужные им секреты. Эти жуткие кадры показаны на экране донельзя натуралистично.

Нечто подобное, еще более натуралистично, видел я в институте Сербского. Растормозки проводились довольно часто. Их делали Саше Соколову, Мише Лукашкину, Володе Выскочкову и еще многим.

Для растормозки применяли сочетание инъекций барбитала натрия (мединала) и кофеина. Сначала вводили под кожу кофеин, через некоторое время в вену, медленно, — мединал. В каких-то определенных дозах снотворное действие мединала и возбуждающее действие кофеина сочетались таким образом, что вызывали эйфорию с одновременным неодолимым желанием высказаться, ответить на вопросы, вообще — подчиниться чужой воле. Инъекция делала сестра в присутствии лечащего врача, последний производил допрос. Обычно растормозки проводили в процедурной комнате, при затворенной двери, больной во время инъекций лежал на кушетке. По мере введения мединала им овладевала необычная веселость, говорливость. «Мой язык как шнурок развязался...» — поет Высоцкий. Вот так, развязав языки, зеки начинали отвечать на вопросы врача и выкладывали все, что ему было нужно. Конечно, они рассказывали о своем преступлении больше, чем следователям, и последние, наверное, тоже пользовались потом плодами растормозок.

Я уже не говорю о том, что во время этих «химических бесед», конечно, выплывало наружу симулянтство. Большинство подопытных, главным образом реактивщики, поняв, что они разоблачены, после растормозки обычно снимали свой «реактив» и в дальнейшем спокойно ехали в тюрьму, хвастаясь, какую прекрасную по ощущениям процедуру они прошли. Это серьезно, мальчишкам-уголовникам очень даже нравилось, как они выражались, «поймать кайф», «побалдеть». К тому же женщины-врачи... О! здесь врачи не брезговали ничем. «Разве я тебе не нравлюсь?» — спрашивала, наклоняясь над обалдевшим парнем, буквально прижимаясь к нему, молодая Алла

Ивановна. Говорят, Мария Сергеевна еще дальше шла, уговаривая: «Ну погладь мне грудь, ну погладь!»

Кайф, должно быть, действительно был сильным: прошедшие растормозку долго потом хохотали в палате или в курилке, рассказывали вздохло о пикантных подробностях с Аллой Ивановной или Марией Сергеевной («А она меня... А я ее...»), глаза у них были безумные и счастливые. А один зек из затемненной палаты после растормозки лез ко всем драться, еле его утихомирили.

Одну растормозку я наблюдал очень даже близко. Ее делали зеку по фамилии Тумор вечером врач Алла Ивановна и медсестра Александра Павловна. Тумора завели в процедурную, уложили на кушетку. Дверь притворили, но неплотно, и в щелку я видел всю процедуру. Потом вышла Александра Павловна — пришлось отскочить. Через несколько минут я снова заглянул, вот тут-то и видел, собственными глазами, описанную выше сцену. Алла Ивановна, склонившись над лежащим на кушетке и блаженно улыбающимся Тумором, держала его за руку и спрашивала:

— Так с кем ты был? Ну говори, говори! Разве ты мне не доверяешь? Разве я тебе не нравлюсь?

Неожиданно подошедшая Александра Павловна прогнала меня от двери и захлопнула ее.

После растормозки Тумор часа два сидел в туалете — прямо на полу между двумя унитазами — и рассказывал, громко хохоча, о своих ощущениях. «Реактив» свой он тут же снял.

И все же некоторые, правда, очень немногие зеки выдерживали, не развязывали до конца свой шнурок. Наверное, это было нелегко, но ведь устоял же и английский разведчик на экране... Применяли для этого даже одно доморощенное средство, секрет которого по понятным причинам здесь не раскрываю. Основным все-таки было желание устоять, напряжение воли. Ну а менее стойкие, вроде Тумора, довольствовались своим «кайфом».

В общем, мерзкая процедура. А уж с точки зрения государственного насилия над личностью, над незащитным мозгом — самый настоящий психофашизм, о котором так рьяно, разоблачая западный «мир несправия», пишет наша «Литературная газета».

И второе безобразное действие, с которым столкнулся в Институте дураков, хотя оно несколько иного плана и прямого отношения к обследованию не имеет. Спинномозговые пункции. Диагностическим значением они почти не обладают, да и не столь простая это процедура, чтобы применять ее направо и налево, это же не кровь из пальца взять. Кроме того, на пункцию всегда требуется согласие пациента. Здесь это формально тоже соблюдалось, то есть зеки шли на пункцию добровольно, но разве могли они отказаться от предложения врача, который говорит «надо»? Наивни-

ки, они верили в душе, что это... как-то поможет зацепиться за желанный психиатрический «рай». А откажешься — врача обозлишь... Вот так примерно рассуждал Володя Шумилин, когда Валентина Васильевна предложила ему сделать пункцию. «Для пользы дела», — так она сказала. И я никак не мог отговорить его. То есть Володя понимал, что это не безразличная для здоровья операция, но «интересы дела» взяли верх. Согласился. Пункцию делали Пете Римейко, Песочникову, Жене Себекину, Асташичеву, Тумору и многим другим. Делал пункции институтский невропатолог, я не знаю его имени, т.к. никогда с ним не сталкивался. Но видел — высокий, здоровый мужчина с пышной седой шевелюрой и волосатыми, обезьяньими, видно, очень сильными руками. Говорили, что он вонзал иглу в позвоночник больно не глядя, одним ударом.

Процедура спинномозговой пункции проводилась в отделении по определенному, окутанному некоторой торжественностью ритуалу. Еще накануне назначенного дня «избранных» мыли в ванне, им меняли белье, и они шли на операцию, как японские смертники-камикадзе, в чистых, белых рубашках. Утром, перед пункцией, их повышенно кормили: молоко, колбаса... Потом, часов около одиннадцати, вводили куда-то, чтобы через полчаса-час привести обратно — уже в лежачем положении, на столе-каталке. Наши «камикадзе» лежали на боку, не шевелясь, с гордыми и торжественными лицами, без рубах, хребты их были густо вымазаны йодом. Их снимали с каталок и перекладывали на койки, где они лежали в той же позе несколько часов, не вставая. Даже курить им позволялось в палате, и это было верхом почета и неприкасаемости. И еду им давали в постель. Этой привилегией они пользовались в течение нескольких дней.

Володе Шумилину пункция была сделана неудачно. Видно, не туда все-таки ткнул иглу лихой костоправ. Вскоре после того, как его привезли в палату, у него начались произвольные подергивания ног, как у распятой на булавках лягушки, когда ее раздражают (невинный опыт медиков-первокурсников) электрическим током. Но он все равно улыбался белым как мел лицом и курил свою заслуженную сигарету...

Не знаю, куда шел взятый таким образом костный мозг, но в любом случае, бесплатное донорство безответных заключенных я считаю действием не только в высшей степени безнравственным, но и просто преступным.

Между прочим, сведущие зеки говорили, что в обычных психбольницах эта операция проводится очень часто и вообще без спросу; здесь, в институте, хоть спрашивают.

К недозволенным методам я отношу и проводившееся в институте лечение. Имею в виду нейролептики. Многим давали в таблетках или кололи аминазин, триптофан, пропазин и др. Врачи не имели права подвергать принудительному лечению подследственных, вообще всех, кому это лечение не

назначено по суду.

То же самое касается и применения лекарств в репрессивных целях. Спрашивается, на каком основании Мария Сергеевна назначила Бучкину аминазин? Разве он находился на принудлении в психбольнице? А укол Марчичеву? Даже если он нарушал порядок, буянил... Вот уж где был самый настоящий психофашизм!

Недозволенным методом можно считать и тайный надзор нянек, я уже о нем говорил. И не только нянек — в институте, а он ведь тоже был одним из островков ГУЛАГа, применялись все классические методы тайного сыска, которые в тюрьмах и лагерях деликатно именуется «оперативной работой»: сексотство, использование «наседок» и т.д. Добытые таким образом «оперативные данные» использовались врачами для разоблачения симулянтов. Так, только благодаря доносу (возможно, и ложному) был признан здоровым — во время второго или даже третьего своего заезда в институт — уже упоминавшийся мною И.Розовский.

Встреча с Лунцем

Однажды няньки несколько тщательнее провели в палатах приборку. Прибежала сестра — потыкала пальцем в паутину. Зеки-натуральщики налегли с утра на паркет.

Было часов около одиннадцати, я читал, сидя на койке. Витя был на трудотерапии. Володю Шумилина увели на какое-то хитрое исследование по типу моей камеры-обскуры: тоже вроде снятия биотоков мозга, только посложней.

Вдруг в палату быстрыми шагами, почти бегом, влетел седовласый большоголовый человек в белом халате. Выпученными, а еще и увеличенными стеклами очков глазами и вздутыми щеками он напоминал большого мопса. Он и влетел, как мопс, круто развернувшись на кривых ногах. Остановившись передо мной, с возгласом «Ну-с!» резко постучал правым указательным пальцем по левому, клянусь, звук был точь-в-точь такой, как если бы мопс, усевшись, постучал обрубком хвоста по полу.

Я встал. Незнакомец сквозь стекла очков буравил меня взглядом. Через некоторое время в палату так же быстро вошла незнакомая женщина в очках и с тетрадкой в руке, а за ней — наша дневная сестра, кудрявенькая Женя.

— Вот это тот больной, Даниил Романович, о котором мы Вам рассказывали, — произнесла, запыхавшись от бега, женщина с тетрадкой.

Я понял, что передо мной знаменитый Лунц, и кровь бросилась мне в голову.

Мы стояли молча, уставившись друг другу в глаза, как два деревенских парня, играющих в гляделки.

— Вы окончили фармацевтический институт? — резко спросил он.

— Простите, но я не знаю, с кем говорю. Вы не представились.

— Зовите меня Даниил Романович.

— Так Вы Лунц?

— Именно. Именно так, — отчеканил он, продолжая сверлить меня взглядом. — Так какой фарминститут Вы окончили? Московский?

— Харьковский.

— А еще Вы окончили литературный институт?

— Чувствуется, что Вы знакомы с моей биографией.

— Кое-что, кое-что. Скажите, а кто был Вашим творческим руководителем в институте?

Я подумал: видимо, проходили уже перед ним студенты или выпускники литературного института. Ну да, конечно, Данилов из Ленинграда... мой друг Гоша Беляков... Сколько еще неведомых...

В палату вошло еще несколько врачей. Любви Иосифовны среди них не было.

— Вы же все равно его не знаете, — ответил я. — Сергей Александрович Поделков.

— Он больше, э-э-э, педагог, чем поэт?

— Это Вы так считаете?

— Разумеется, мнение сугубо личное. Да, да, да.

Я заметил, что он не сводит глаз с моей руки. В левой руке у меня были очки, и, разговаривая с Лунцем, я машинально крутил их, держа за дужки. Я вспомнил утверждение Игоря, что такое произвольное монотонное движение часто расценивается врачами как один из признаков шизофрении, и быстро оборвал его, скрестив руки на груди.

— Ну хорошо. Мы еще будем беседовать с Вами. Часто и долго беседовать.

Тоже глядя прямо ему в глаза, не убирая скрещенных рук, я медленно покачал головой, выражая отрицание.

— Что, нет? — вздернул головой Лунц. — Нет?

— Нет, — тихо, но отчетливо ответил я.

— Почему?

— Потому что глядя на Вас, я вижу перед собою — детей Леонида Плюща, — ответил я негромко и медленно, смотря ему в самые зрачки — зеленые и мертвые.

Резко вскинулась кудлатая голова. Щелкнули челюсти мопса. Однако он сдержал себя.

Ну, это Вам так кажется. Хорошо. До свиданья. Вопросы ко мне еще есть?

Я спросил, буду ли оставлен здесь на второй месяц, как обещает врач.

— Посмотрим в понедельник, — ответил Лунц.

Еще я спросил, скоро ли, наконец, состоится прогулка. Сказал, что лежу здесь уже месяц без глотка воздуха.

— Что Вы, это по лужам-то? Февраль... грипп... — он явно смешался. — Нет, это опасно, опасно...

— А Вам не кажется, что месяц без воздуха — это более опасно?

Но Лунц уже не ответил — он бежал из палаты, сопровождаемый своей свитой. Они обошли и другие палаты, правда, ни у одной кровати не задержавшись так долго, как возле моей.

Позже я узнал, что это был первый обход Лунца после возвращения его из-за границы, кажется, из Венгрии. Что-то пасаждал он там?.. Я думал: интересно, а в западные, в т.н. капстраны он ездит? И уютно ли ему там? Ведь в 1973–1974 гг. особенно высока была волна протестов за рубежом против психиатрических репрессий в СССР. И уж имя Лунца поминалось там, наверное, часто. Это была моя первая и по сути единственная продолжительная встреча с Лунцем. Никаких бесед, ни долгих, ни коротких, между нами так и не состоялось.

После его ухода в палате еще долго пахло собачьей шерстью.

«Комиссии» и «подкомиссии»

В конце срока обследования накануне заключительной «комиссии» или за несколько дней до нее проводилась т.н. «подкомиссия» — беседа обследуемого с профессором, то есть с Лунцем (а в его отсутствие — с Ландау или Тальце). На беседе присутствовал лечащий врач. «Подкомиссии» придавалось большое значение, так как окончательный результат фактически определялся на ней, и уже с ним обследуемый шел на «комиссию».

Заключенных обычно предупреждали, что им предстоит беседа с профессором, и они ждали ее, волновались.

Что касается меня, то официальной такой «подкомиссии» у меня не было. Никто о ней не предупреждал, никуда меня не водили. Правда, Лунц приходил в палату, может быть, его набег 15 февраля и был такой «подкомиссией»?

«Комиссию» зеки всегда ждали с надеждой и опаской. Это был последний, окончательный порог, за которым открывались две двери: либо в «рай», либо в «ад».

«Комиссии» проводились по понедельникам, реже по вторникам, в «актовой» комнате; как правило, по утрам.

Не знаю, назначается ли каждый раз, то есть для каждого очередного заключенного, новый состав «комиссии», отдается ли это приказом по институту и вообще; выбирается ли председатель «комиссии» врачами отделения или же назначается сверху, без всякого согласования... Знаю только, что председателями бывают врачи из других отделений, это, видимо, обязательное правило. И это не рядовые врачи. Подписи под актом экспертизы ставят не все врачи, присутствующие на «комиссии», а только профессор отделения и лечащий врач.

Техника «комиссии» не сложна. Председатель сидит за отдельным столом, члены комиссии — рядом с ним. Обследуемого приглашают последним, когда все уже в сборе и, видимо, вчерне судьбу его определили. Усаживают тут же, задают вопросы, главным образом председатель. Не знаю, существует ли какой-нибудь шаблон вопросов или они рождаются непосредственно.

Заключение «комиссии» обследуемому не сообщается, его просто уводят — и все. О результате он узнает позже — по тому, куда привезут. В случае признания здоровым он увидит акт экспертизы, знакомясь после окончания следствия с делом; в случае признания невменяемым — не увидит никогда.

Мне в этом отношении повезло, и я знаю состав моих «комиссий».

Первая, от 18 февраля 1974 года (Акт №260):

1. Доктор медицинских наук И.Н.Боброва (председатель)
 2. Доктор медицинских наук Д.Р.Лунц
 3. Кандидат медицинских наук (психиатр-эксперт) Л.И.Табакова
- и вторая, от 12 марта 1974 года (Акт №416):

1. Доктор медицинских наук А.К.Качаев (председатель)
2. Доктор медицинских наук И.Н.Боброва
3. Доктор медицинских наук Д.Р.Лунц
4. Доктор медицинских наук М.Ф.Тальце
5. Кандидат медицинских наук Л.И.Табакова.

Какое созвездие ученых степеней, какое внимание к моей нетитулованной особе! Четыре доктора наук!

И тем не менее, слово «комиссия» я везде сознательно ставлю в кавычки, подчеркивая тем исключительную формальность этой процедуры, являющейся по сути показным, бюрократическим действием, которое должно создать видимость ученой коллегиальности и придать юридический вес бумаге. А ведь на деле всю эту бумагу сочинила от начала до конца Л.И.Табакова. Недаром у нее всегда пальцы были в кляксах.

Комиссия. 18 февраля 1974 г.

В понедельник 18 февраля я был представлен на комиссию. Она состоялась в той же «актовой» комнате, только на председательском месте на этот

раз сидела полная круглолицая женщина лет 45-ти, темноволосая, в очках. Как я узнал позже, это была доктор медицинских наук И.Н.Боброва, в институте она заведовала каким-то другим отделением.

Меня посадили на стул, справа от Бобровой, возле перпендикулярного стола. За тем же столом, напротив, только чуть наискосок, сидел Лунц. Справа от меня, неподалеку, — Любовь Иосифовна. В отдалении за столами, стоявшими у окон, сидели лицом ко мне, слева направо: Я.Л.Ландау, Светлана Макаровна и Альфред Абдулович.

Все было простенько, как-то по-домашнему. Врачи улыбались, переговаривались вполголоса. То, что я сидел с ними за одним столом, как бы включало меня в их круг, в их игру. В окна весело светило слепящее февральское солнце, все жмурились. Со стороны, должно быть, мы все казались одной компанией, собравшейся на дружескую пирушку.

Конечно, нужно было, наверно, вести себя иначе. Ну, например, зачитать заявление-протест по поводу участия в экспертизе Лунца... Тем более, что я уже написал его, только сейчас почему-то не взял с собой. Или сказать, что я вообще не признаю этого спектакля, повернуться к ним спиной, замкнуть уста... Или разразиться обличительной тирадой... Одним словом, сделать что-нибудь такое — единственно верное, поднимающее меня над этой публикой и в глазах ее...

Как же просто сейчас размышлять об этом!

...Солнышко приятно согревало щеки, зайчики плясали по зеленому сукну стола. Лунц, пряча от меня лицо за графином, сосредоточенно играл карандашом — монотонное, произвольное движение... В общем, глупо повел я себя, совсем не так. И включился в их игру.

— Ну что, Виктор Александрович, разве Вам не хорошо у нас?

Это спросила Боброва. Я вздрогнул: почудилось «среди нас». Мне показалось, что Ландау при этом хихикнул и подмигнул мне. А Лунц схватился рукой за графин, как будто хотел налить мне стаканчик.

— Ну почему Вы так насторожены и не хотите помочь экспертизе? — продолжала Боброва.

— Насторожен?

— Ну да. И недружелюбно настроены по отношению к нам.

— А как я должен относиться к людям, ставящим под сомнение мое психическое здоровье? И в чем им помогать? Признать меня невменяемым? Кстати, я уже говорил своему врачу, что мое поведение объясняется не растерянностью или испугом, а моей позицией. Поскольку я занимаю позицию неучастия в следствии, было бы нелогично мое участие здесь. Кроме того, сам факт направления на экспертизу унижает меня как личность и возмущает как политического заключенного.

— Скажите, можете ли Вы себя охарактеризовать? — спросил Лунц. — С

точки зрения психологии.

— Нет.

— Почему нет?

— Я не психолог. И не психиатр.

— Виктор Александрович, — после недолгой паузы вновь спросила председатель комиссии, — почему Вы разошлись с первой женой?

— Это к делу не относится. Тем более, к психиатрии.

— Скажите, а Вы изменяли своей жене? — громко спросил, почти вскрикнул Лунц.

Я смутился. Вопрос поразил меня своей бестактностью. Пожал плечами.

— Смотря что понимать под словом «измена»...

Лунц вдруг схватил карандаш и что есть силы застучал им по графину. Бам-бам-бам!

— Половое сношение с другой женщиной! — еще громче заорал он. Лицо его перекошилось. — И ничего более.

Я вспыхнул. Но сдержался. Показалось, что все остальные врачи как-то смутились.

— Какое у Вас... убогое представление об измене, — только и нашелся я, что сказать. И поднялся с места.

— Подождите, Виктор Александрович, — остановила меня Боброва. — У меня еще вопрос. Скажите, почему все-таки, опасаясь нашего заключения, Вы не делаете ничего для того, чтобы оно было иным, даже наоборот?

— А что, я должен **сам** что-то доказывать? И разве будет ваше заключение зависеть от меня?

— Будет, Виктор Александрович, будет! Вам только доверчивее надо быть, снять эту напряженность.

— Скажите, я действительно остаюсь еще в институте?

— Да.

— На какой срок?

— Ну, у нас обычно месяц.

— А конечный результат — будет мне сообщен?

— Это у нас не принято.

— Никогда?

— Ну, может быть, в порядке исключения... Все, Виктор Александрович, Вы свободны.

Когда я уже повернулся к дверям, вдруг прозвучал, как-то невпопад, вопрос Любви Иосифовны:

— Вот у Вас все-таки были головные боли, почему Вы все время пили кофеин?

Я обернулся от дверей. Кажется, держал себя весь час, а тут — не сдержался. Хлынуло — с раздражением, нервозно и, видимо, чересчур громко:

— А почему я не мог его пить? Я же медик, в конце концов... Да и кому какое дело? У меня гипотония всю жизнь. Кому я еще должен это объяснять?

И уже вдогонку донеслось, в спину, какое-то растерянное:

— Ну, Вы так бы просто и сказали сразу! Вот теперь все ясно...

Весь этот день я пролежал в постели в лежку, без сил. Будто провернули сквозь огромную, тяжелую мясорубку.

Кого — куда. Дни и сроки выбытия

После «комиссии» признанные здоровыми (вменяемыми) в институте не задерживаются — они выбывают по своим тюрьмам если не в тот же день, то на следующий. Отвозят их обычно утром, часов в одиннадцать, институтским «воронком». Этим автомобилем (кажется, в институте он один) осуществляется транспортировка всех заключенных как в институт из тюрем, так и обратно. Обслуживают его вольнонаемный шофер, два прапорщика-охранника и офицер-«экспедитор».

В институте установлен следующий график этапов:

понедельник — тюрьма на Матросской Тишине;

вторник — Бутырская тюрьма;

среда — Бутырская тюрьма, этапируют «признанных»;

четверг — Бутырская тюрьма, этапируют «признанных»;

пятница — гражданские психбольницы.

По этому графику, то есть исходя из того, в какой день увозят заключенного, мы устанавливали, признан он или нет. Так, меня увезли во вторник — в Бутырки. Сашу Соколова, Володю Шумилина, Женю Себякина — они были с Матросской Тишины — в понедельник. Ваню Радикова и деда Никуйко увезли в среду, значит — в бутырские «дуркамеры». Для «признанных» было также характерно, что они после комиссии не выбывали сразу, а задерживались на неделю-две. Для оформления документов, что ли? Так было с Радиковым, с Никуйко, а позже — с Асташичевым.

Безостановочно работал отлаженный психиатрический транспортер, подтаскивающий «материал» к Институту дураков и оттаскивающий его обратно. День за днем, день за днем вращались шестеренки, поскрипывало, ползло, волочило тяжелое и неумолимое, ржавое, бюрократическое колесо.

В палате. День рождения Игоря

Моим соседом по палате давно уже был Володя Шумилин. Сначала он спал на месте Саши Соколова, а после убийства Вити Яцунова перебрался на его койку.

Бедовая головушка Витя выбыл от нас столь же необычно, как и жил. 15 февраля, в день визита Лунца, он, находясь на трудотерапии, совершил свою последнюю проказу — похитил у надзорной тетки, инструктора по клейке конвертов, связку ключей. Она сразу не хватилась, но при шмоне, которому подвергались все работавшие при возвращении в отделение, ключи у Вити изъяли. Он пришел в палату красный, с побитым видом. Рассказал мне, притворно бравидуя и улыбаясь, но я-то видел, как он испуган.

— Ну теперь меня в карцер упекут!

Он не ошибся. На следующий день Альберт Александрович вызвал Яцуну на недолгое дознание, где и выписал такую путевку.

Вскоре пришла нянька, принесла какое-то барахло.

— Переодевайся, Витя.

В институте, как и в тюрьме, отправляя в карцер, переодевали в самое тонкое, рваное. Чтоб помучительней, похолодней.

Нянька Анна Федоровна, любившая Витю, очень переживала.

— Бедолага, натворил на свою голову!

Она навещала его в карцере, даже носила тайком какую-то еду, передавала от него приветы, изливалась сочувственно:

— Вы только подумайте, такой хороший парень, а непутевый!

Я искренне соглашался. От нее и узнал, что Витя был признан здоровым и прямо из карцера отвезен в тюрьму. Так и не добыл он желанной «красной книжечки».

А еще в нашей палате, на месте выбывшего Никуйко, жил теперь большеголовый и рыжий прескучнейший Асташичев. В разговоры он не вмешивался, хотя, как мне показалось, прислушивался к ним с интересом. У нас постоянно обитал Розовский, читались стихи, звучали «интеллектуальные», даже «крамольные» речи, поэтому я был доволен, что Асташичев записался на трудотерапию и целый день его не было. Вечерами же он лежал на кровати безмолвно, а если к нему по какому-то поводу обращались, говорил жалобно:

— Да ведь что я могу сказать? Я вас, ученых, не понимаю. У меня голова больная. Мне доктор сказал, что меня в дурдом отвезут.

Однако я помнил и другие речи Асташичева... Как-то, когда я еще был в большой палате, среди зеков вспыхнул политический спор. Затеял его Витя Матвеев и говорил с жаром — что-то о преступлениях Сталина и вообще советской власти. И Ваня Радиков слово вставил... Я не вмешивался — лежал на кровати. Вдруг вскочил Асташичев, совершенно взбешенный:

— Перестаньте сейчас же! Надоело слушать. Что Вы все о Сталине да о Сталине! Советская власть Вам плохая? Эта власть все Вам дала. Замолчите! Или я врачей позову!

И ни грамма психической ненормальности не было в этом патриотиче-

ском монологе. Ладно. Его, в конце концов, все-таки признали. Родная советская власть дала ему койку в дурдоме.

...19 февраля был день рождения Игоря, ему исполнилось 33 года. «Возраст Христа», — говорил он и ходил в этот день по отделению, сияя как начищенный пятак. Очень он был доволен, что Валентина Васильевна передала ему плитку шоколада и поздравительную открытку от жены и дочери. Мы с Володей тоже поздравили его и преподнесли приветственный «адрес» — стихи с надписью «Игорю Розовскому — поэту, гражданину и коневоду». Стихи сочинил я экспромтом, естественно, обыграв в них «конскую» тему. У меня сохранился черновик.

Розовский Игорь —
 качать его!
 Нет слаще ига,
 чем иго-го.
 Не мед, не сало, —
 всего сильней
 любил Ронсара,
 любил коней.
 Любил всей кровью,
 любил хребтом.
 Его ж — к злословью,
 его — в дурдом!
 О злое племя!
 Угар, мигрень.
 Но грянет время,
 настанет день!
 Падут оковы.
 Поэт — велик.
 Целуй подковы
 его вериг.
 Над бранным миром,
 о, фаэтон!
 С конем и лирой —
 взметнется он!

Очень был растроган поэт-коневод. И светил своей доброй, с лукавинкой, улыбкой. И читал стихи, воздевая ввысь нервные, артистические руки. Володе в этот день сделали спинномозговую пункцию, и он лежал неподвижно на боку. Но он тоже улыбался, а мы с Игорем веселили его, дурачились, как могли, настроение у всех было приподнятое, и никто из нас не думал о завтрашнем дне, о будущем.

До чего же немного нужно человеку для покоя или хотя бы для иллюзии его!

Майкл — повелитель трав

И еще один рыженький мальчик ходил по нашему коридору. Миша Соркин, хотя в моей памяти он останется под именем Майкл, как прозвал его наш острослов Розовский.

Голова у него была как золотой фонарик — с рыжими кудряшками, веснушками на пуговичном носу и яблочными щечками. Он всегда улыбался, тихо и загадочно, был молчалив и погружен в себя. Ходит по отделению и улыбается невесть чему. Или забежит вдруг в палату, осветит всех своим румянцем и опять скроется, застучит шлепанцами по коридору.

Этого мальчика приручил Игорь. Они лежали в одной палате, и Миша привязался к нему. Он и ко мне в палату забегал лишь потому, что в ней бывал Игорь, — лишний раз на своего любимца взглянуть. Игорь взбрасывал вверх руку и говорил ему на полном серьезе:

— О Майкл! Идущие на смерть приветствуют тебя!

Майкл в ответ взвизгивал радостно и убегал, довольный как котенок.

Вот такое забавное существо обитало среди нас. Я не знаю, в каком сопредельном мире жила его зачарованная душа, но там, наверное, было хорошо.

Однажды Майкл остановил Игоря в коридоре и спросил задумчиво:

— Скажи, хотел бы ты быть фараоном?

— Ну что ты, Майкл, это же не современно, — ответил Игорь. — В наши дни лучше быть... ну, скажем, премьер-министром.

— Нет, — ответил, подумав, Майкл. — Фараон главной. Ему звери подчинялись, травы...

Как-то раз, в воскресенье, Майкла повели на лекцию. (В институте устраивались иногда лекции для студентов, на которых демонстрировали больных. Для тех, кого туда брали, это было хорошим знаком, говорящим о признании больным.) Майкл растерялся, захлопотал.

— Майкл, ты апельсин с собой возьми, — сказал Игорь.

— За-чем а-пель-син?

— Ну, будешь его у груди держать. Вот так. Для красоты и впечатления. У Серова есть «Девочка с персиками», а ты будешь «мальчик с апельсином».

Пришла сестра: «Быстрее, быстрее!» Повели Майкла. Он от дверей — вырвался и опрометью — назад. «Куда ты?» — сестра за ним. Оказывается, за апельсином. «Да идем быстрее, там люди ждут!» Плачет: «С апельсином!» Настоял на своем. Так и демонстрировался.

И последнее воспоминание, грустное. Врачи назначили почему-то Майклу инъекции аминазина. Думаю сейчас: а имели ли право? Ведь он еще

не был на принудительном лечении, оно же только по суду, как гласит наш т.н. закон, а мы все находились на экспертизе...

Так или иначе, Майкл отказался, не дался сестре. Убежал в палату. И тогда... до сих пор стоит в глазах эта сцена. В отделение вошли несколько прапорщиков. Мордастых, сильных. Из-под кургузых белых халатов — сапоги в гармошку. Всех растолкали по палатам, но мы выглядывали сквозь окошечки в дверях. Они шли по коридору — плечистые, рослые эсэсовцы. Двое скрылись в палате. Потом оттуда выскочил Майкл... бросился к другой палате, но там стояли стеной остальные. Он рванулся обратно, затем опять повернул... Впервые на его лице не было улыбки. А в голубых, сразу потускневших глазах, стоял страх — дремучий, звериный. Они надвинулись с улыбкой, с двух сторон, сжимая, и уже похлопывали по плечу, и теснили к двери процедурной:

— Ну давай, давай!

А потом раздался крик. И тут же оборвался. Одна нота всего. Но лучше не слышать ее никогда.

Где-то сейчас наш добрый, тихий повелитель трав?..

«В чистоте и честности...» Врачи отделения. Д.Р.Лунц

Я не знаю, произносили ли когда-нибудь эти гордые слова из знаменитой врачебной присяги, называемой клятвой Гиппократата, врачи института им. Сербского. Наверное, да, особенно молодые, ведь сейчас в советских вузах будто бы вновь возрожден этот обычай. Да и старшие, конечно, тоже ощущают себя этой гиппократовой ветвью, гуманистами, людьми чистой идеи и прекраснейшей заповеди: «Не вреди».

Вот они идут цепочкой по коридору — подтянутые, чистые, белые. Вот сидят рядком или стоят у окон на комиссии в «актовой» комнате... Я пытаюсь представить их лица — в тот момент, когда они произносят торжественные слова клятвы.

«В чистоте и честности...» — шепчет Любовь Иосифовна и, почтав на сон грядущий Фолкнера, — утром беретса на маникюрной рукой за тюремный ключ.

Любовь Иосифовна! Вы хоть прислушиваетесь к тому, как он поворачивается в замке? Интересно, что Вы думаете в эту бегущую минуту?

«В чистоте и честности...» — вторит ей волоокая Мария Сергеевна и — выписывает ничего не подозревавшему Бучкину, человеку, годящемуся ей в отцы, десять уколов аминазина.

А Вы хоть измерили ему перед этим кровяное давление, Мария Сергеевна? Вы уверены, что его после первой инъекции не хватит какой-нибудь

удар?

«В чистоте и честности...» Вот они идут по коридору, выстраиваясь на ходу по рангу, опрятные, улыбающиеся — врачи 4-го отделения института имени Сербского. Так же — по рангу, по служебному ранжиру — я и представлю их вам.

Первым не идет — летит, его движения быстры, резки, полы халата развеваются, невысокий плотный человек лет 60-ти (выглядит он моложе) с пышной седой шевелюрой и отвислыми бульдожьими щечками, в массивных, утяжеляющих угластые черты лица очках. Это — генерал-аншеф советской заплечной психиатрии, знаменитый профессор Даниил Романович Лунц. Он доктор медицинских наук, в институте много лет руководит 4-м отделением. Все до одного случаи признания невменяемыми советских инакомыслящих прошли через его «чистые и честные» руки.

Не знаю как в отношениях с другими врачами, но с зеками Лунц резок, прямолинеен, груб и нагл. Любит огоршить каким-нибудь неожиданным, часто бестактным вопросом, при разговоре буравит собеседника злыми, холодными глазами, буквально гипнотизирует, давит.

Конечно, в опыте распознавания болезни, в определенной проницательности, ему не откажешь. Вот такой случай, например.

Лежал у нас в затемненной палате некий Вартамян, москвич-армянин, арестованный по ст. 83 («валютные спекуляции»). Вартамян «темнил», выдавая себя за ... гражданина США, кандидата на пост президента. Слышались ему еще какие-то голоса (политические противники?), и он с заткнутыми ватой ушами целыми днями, лежа или сидя на постели, писал какое-то «послание конгрессу», в котором излагал свою предвыборную программу. Между прочим, довольно оригинальную. Вартамян, например, обещал американцам избавить Америку, в случае его избрания президентом, от двух главнейших зол: от негров и от коммунистов. Жаль, не сблизился я с Вартамяном и не узнал подробнее его программу, в частности, мер по искоренению коммунизма. Но вот что он предлагал для избавления от негров, эти идеи Вартамян развивал однажды в курилке. Программа была жесточенная: всех негров-мужчин свезти в концлагеря в Аризонскую пустыню, где они постепенно вымрут. Что касается женщин, то их Вартамян предлагал ... насильственно скрещивать с белыми мужчинами, получающееся потомство будет, как он выражался, «посветлей», уже не черным, а «кофейным»; в этом поколении нужно было провести аналогичную селекцию, т.е. мужчин опять уничтожить, а женщин — скрестить с белыми; третья популяция должна быть еще «посветлей»... и т.д. Путем многократного отбора Вартамян намеревался в конце концов свести на нет черную расу в Америке.

Такой вот головастый кандидат в президенты США жил рядом с нами. Высказывал он это все очень серьезно. Между прочим, наш отвергатель де-

нег Володя Шумилин ходил к Вартаняну предлагать свои идеи, и тот пообещал ему (об этом тотчас же узнало все отделение) пост министра финансов в будущем своем правительстве!

Так вот, во время своего первого обхода отделения, 15 февраля, Лунц подошел к постели Вартаняна. Тот как всегда сосредоточенно писал что-то, сидя на кровати.

— Вы... э-э-э... азербайджанец? — спросил Лунц. — Или армянин?

— Я американец, — спокойно ответил Вартанян, продолжая писать.

— А-а! — Лунц скорчил кислую мину и досадливо махнул рукой, словно отмахиваясь от надоедливой мухи. И тотчас отошел от кровати.

Через несколько дней «президент», пролежавший до этого чуть ли не три месяца, поехал на Матросскую Тишину. Спас-таки Лунц американских негров от вырождения!

О своих встречах с этим человеком я рассказал выше. И наверное, я больше радуюсь, чем жалею, что они были недолгими. Скажу, обобщая свое мнение, что Лунц — законченный ублюдок от медицины, «кацетный врач» (так назывались врачи-преступники в нацистской Германии, работавшие в концлагерях и ставившие бесчеловечные опыты над заключенными), послушный и безжалостный советский опричник. Недаром голубой его мундир украшают две генеральские звезды войск МВД. Войск, воюющих с собственным народом!

Жандармский полковник Полотенцев...

В отделении появился новый больной, сразу привлечший всеобщее внимание. У него был почти совершенно лысый череп, а по груди текла длинная, до колен, черная, как воронье крыло, борода. Лицо с резкими, волевыми чертами, жесткое и красивое — холодной иудейской красотой. Этаким пророк Исая, если бы не безумный, злой взгляд из-под густых бровей. Его поместили в палату к Игорю, и тот, конечно, прибежал поделиться с нами.

— А у нас святой в палате! Лежит вверх лицом и с Богом говорит!

Он и впрямь будто с Богом говорил. Ходил по коридору, устремив вперед и вверх невидящий взгляд и шевеля губами. Руки нес впереди, словно невидимую свечу. А голова — туго стянута вафельным больничным полотенцем.

Сестры называли его Семеном Петровичем, а Игорь окрестил — Полотенцевым...

— Видели кино «Необыкновенное лето»? — спрашивал он. — По книге Федина. Помните, там сходка в лесу? И вдруг один ка-а-к дернет соседа за густую, длинную бороду: «Я узнал Вас, жандармский полковник Полотенцев!» Борода и отвалилась! А что если нашего святого дернуть? У меня такое ощущение, что у него она тоже накладная.

Между тем, Семен Петрович стал захаживать в нашу палату. Войдет молча, не обращая ни на кого внимания, прошагает к столу и усядется в окно на 25-этажный дом напротив. Стоит так минут десять, беззвучно шевеля губами.

Мы обнаглели.

— Я узнал Вас, жандармский полковник Полотенцев! — восклицал в эти минуты Игорь, и мы все хихикали.

Однажды, когда Полотенцев стоял так у окна, я вдруг заметил, что он вовсе не в окно смотрит, а читает лежащую на столе газету! Я не поверил своим глазам. Но Полотенцев, незаметно взглянув на нас через плечо и будучи уверен, что за ним никто не наблюдает, быстро, одним рывком передвинул газету, чтобы удобней было читать.

Вот так безумный святой!

Я сказал об этом Игорю, и мы уже вместе стали наблюдать.

— Я же говорил, что он не тот, за кого себя выдает!

Позже мы установили, что он и в большую палату заходит вовсе не бессистемно, а лишь в то время, когда по радио передают последние известия. Или когда хорошую симфоническую музыку.

Все в отделении смотрели на Семена Петровича как на настоящего и серьезного больного. Держался он особняком, настороженно и пугливо. В то же время ходил, никого перед собой не замечая, словно сквозь стены шел. Великий Немой. Правда, он не то чтобы совсем не говорил. Ну, например, няньке:

— Свет... Сестрица! Свет!

— Что, Семен Петрович, что, милый? — всплашивалась нянька.

А у него лицо безумное, зрачки пляшут, борода торчком становится, рот полуоткрыт.

— Лампочки... Потушите! Свет! На голову давит! Свет!..

Еды никакой институтской он не ел. Боялся, что отравят. Жена приносила ему богатые передачи, и он ел только свое, в основном консервы.

Сестры говорили, что Семен Петрович второй раз лежит в их отделении, но он ничего не помнил.

— Семен Петрович, — говорила какая-нибудь, — здравствуй! Разве ты меня не узнаешь? Ты ведь был уже у нас!

— Нет! Нет! — дико вскидывался Полотенцев и загораживался руками. — Кто Вы? Я Вас не знаю!

После отъезда Асташичева чернобородый «пророк» вдруг был переведен в нашу палату на его место. Лежал так же молча, окаменело, воздев глаза горе, на нас не реагируя. А мы, будучи уверены, что он не слышит или ничего не усваивает, злословили (главным образом Игорь) над ним по-прежнему.

26 февраля увезли. Он забежал проститься на минуту — обескуражен-

ный, бледный. Мы с Володей сочувственно и осиротело смотрели ему вслед, когда он, как-то сразу ссутулившийся, осевший, шел позади няньки по коридору, навсегда уходил от нас.

Вечером, когда я уже разобрал постель, а Володя вышел на последний перекур, лежавший на своей койке Семен Петрович, все так же глядя в потолок, вдруг громко и отчетливо произнес:

— Виктор Александрович, зачем Вы дружили с этой размазней? Злословили неумно... Уж от Вас я этого не ожидал.

У меня отнялся язык. Великий немой заговорил! Это было так неожиданно, как если бы заговорил потолок!

«В чистоте и честности...» Врачи отделения. Я.Л.Ландау и М.Ф.Тальце

И подходит вторым к присяге (нет, не к гиппократовой, — к присяге на верность государственной репрессивной машине), и целует красное древко фигура №2 отделения — Яков Лазаревич Ландау. Он несколько моложе, этак лет 55-ти. Поджарее, стройнее. Падающая набок седая шевелюра, волосы слегка вьются. Очков Яков Лазаревич не носит. Глаза серые, ясные, с романтической поволокой. На губах всегда улыбочка — застенчивая, мягкая. О да, лицо поэта у Якова Лазаревича, этакого Вертера 30-х годов прошлого столетия.

Я не знаю должности Я.Л.Ландау, хотя он был вторым человеком в отделении после Лунца. Предполагаю, что он числился каким-нибудь заместителем по медицинской или научной части. А может быть, наоборот, Ландау номинально руководил отделением, а Лунц считался научным куратором? В отделении, внутри «актовой» комнаты, было два, расположенных рядом кабинета, принадлежащие один Лунцу, второй, похуже, без окна — Ландау. В отсутствие Лунца отделением руководил Ландау (так было в первый месяц моего пребывания в институте).

Примечательно, что фамилия Ландау не фигурирует в делах инакомыслящих. То есть я лично не знаю случаев, когда его подпись была бы под актами экспертиз. Может быть, Яков Лазаревич ведал только уголовным людом? Или действительно занимался лишь научными вопросами, клиникой?

Ну а что это меняет? Все равно же всех «политических» курировал он. И выслушивал с улыбочкой, поддакивающе кивая головой... Нет, второму человеку в отделении и вторым ответственность нести!

Третьим лицом — была Маргарита Феликсовна Тальце. Поклонитесь, Маргарита Феликсовна, представляю Вас!

Вот она стоит — маленькая, кособоконая, похожая на птицу с большим крылом женщина лет 55-ти. Ручки миниатюрные, у груди, как у присевшей служить левретки. Волосы завитые, черная, ядовитая краска поверх седины. Глазки — ощупывающие, выражение лица — угодливое, та же наклеенная улыбка, что и у Ландау, растягивает уголки губ. Было в ней — проглядывало сквозь мыло, краску и улыбку — что-то хищное, ведьмино. И действительно, какой-нибудь ступы или помела не хватало только для полноты картины.

Насколько слух соответствовал действительности, не знаю, но говорили, что Тальце — дочь Ф.Э.Дзержинского. Пожму плечами: биография «железного Феликса» мне неизвестна. Думаю, что это враки, просто смутило какого-то зека отчество «Феликсовна», и пошла гулять по институту «параша». Утверждали, что и внешне она будто бы похожа на Дзержинского. Об этом мне говорил, например, и один из наших «узников совести», прошедший психиатрическое пекло, — Петр Старчик. Лично я такого сходства не нахожу, да и мудрено, мне кажется, его сыскать — уж больно стерты возрастом ее черты.

М.Ф.Тальце — старший научный сотрудник, доктор медицинских наук. В институте, должно быть, служит давно. Во всяком случае, в 1964 году она была лечащим врачом у П.Г.Григоренко (во время первой его госпитализации), о чем он пишет в своих записках. Там он, кстати, считает ее врачом малоопытным, к тому же человеком по своим взглядам и жизненным представлениям крайне неразвитым, примитивным.

Вот его свидетельство.

«Наблюдавшая за мною в 1964 году врач — Маргарита Феликсовна — записывала мои ответы невероятно извращенно. И делала это не только потому, что ей, очевидно, страшно хотелось представить меня невменяемым, но и ввиду своей полной политической неграмотности и обывательской психологии. Последнее, пожалуй, было даже главным, что мешало ей правильно понять меня. Был, например, с ее стороны такой вопрос:

— Петр Григорьевич, Вы получали в академии около 800 рублей. Что же Вас толкнуло на Ваши антигосударственные действия? Чего Вам не хватало?

Я взглянул на нее и понял, что любой мой ответ бесполезен, что для нее человек, идущий на материальные жертвы, невменяем, какими бы высокими побуждениями он ни руководствовался при этом...»

Я полностью согласен с Петром Григорьевичем. Уверен, что и к тому времени, когда я наблюдал Маргариту Феликсовну, т.е. к 1974 году, в этом отношении она не изменилась. Хотя среди зеков считалась проникательной, мудрой. «Вот поведем к профессору», — говорили врачи и вели на «подкомиссию» — к ней, к Тальце. И уж ее приговор был окончательным, обжалованию не подлежал. Так шлепнула она на скамью подсудимых краснобо-

родого Сашу Соколова, позже (в последний его заезд) — Игоря Розовского.

Лично я с Маргаритой Феликсовной контактов не имел. Хотя и обнаружил с удивлением, знакомясь с актом экспертизы, что она, оказывается, была членом экспертной комиссии (второй) и у меня. Но я действительно ни словечком с ней не перекинулся, ни одного вопроса от нее никогда не слышал! Единственное: проходя по коридору мимо моей палаты, Тальце всегда бросала взгляд в мою сторону и вежливо здоровалась, с мягким полунаклоном головы.

Может быть, и это — экспертиза?

М.Ф.Тальце и сейчас трудится на своем посту. Узнаем порой, узнаем! Вот, например, недавно совсем, в декабре 1975 года, вновь блеснула ее подпись под актом о признании невменяемым инакомыслящего из Одессы — Вячеслава Игрунова...

В общем, если и не состоит Маргарита Феликсовна в кровном родстве с Первым Чекистом Страны, то духовное родство — налицо. И в этом смысле, конечно же, — она его верная и достойная дочка.

Заявление протеста. 4-я беседа с врачом

25 февраля, спустя неделю после комиссии, я все-таки подал свой протест против участи в моей экспертизе Д.Р.Лунца. Не знаю, почему не сделал этого раньше, ведь заявление было написано еще до комиссии. Видимо, сознавал, что это — полумера, потому и колебался. Сейчас думаю (видя все изъяны текста), что нужно было или совсем не подавать, или уж говорить так говорить. Причем тут Лунц, почему против него протестую, а против остальных, против самого факта экспертизы — нет?

Но как было, так было. Вот этот текст:

«Директору института судебно-психиатрической экспертизы им. Сербского
гр. Морозову
копия: прокурору РСФСР
подследственного Некипелова В.А.
(Владимирская облпрокуратура,
дело №2791)

Заявление

С 15.1.74 г. я нахожусь на стационарной психиатрической экспертизе в институте им. Сербского. В настоящее время я узнал, что в обследовании моего здоровья примет участие проф. Д.Р.Лунц, чье имя в последние годы было серьезно скомпрометировано в глазах мировой общественности.

Как мне известно, против проф. Лунца были выдвинуты обвинения в пристрастном обследовании некоторых политических заключенных и в вынесении необоснованных заключений о наличии у них душевных заболеваний, в результате чего эти люди были подвергнуты психиатрическим репрессиям.

Поскольку я не располагаю сведениями о том, что проф. Лунц эти обвинения опроверг, я продолжаю сомневаться в его профессиональной честности и, естественно, не могу вручить свою судьбу в руки этого человека.

Настоящим заявляю решительный протест против всякого, прямого или косвенного, участия в экспертизе проф. Лунца.

Я надеюсь, г-н директор, на Ваше подтверждение, что этим своим заявлением я нисколько не выхожу за рамки как общечеловеческой этики, так и юридического права, сконцентрированного в сжатом виде в ст.185 УПК РСФСР».

Заявление, исполненное в двух экземплярах, я вручил Светлане Макаровне, проводившей в тот день обход. Она взяла его не читая, держа листки двумя пальчиками в вытянутой руке, как нечто непотребное, вдруг сказала:

— Кстати, Виктор Александрович, если Вы хотите, можете ходить на трудотерапию, конверты клеить. Хотите?

— Нет.

— Почему же?

— Я пока еще не в лагере. Предпочитаю распоряжаться своим временем сам.

— Ну как хотите.

Володя Шумилин, которому было сделано такое же предложение, отказался тоже.

Через пару дней меня вновь вызвали к врачу. Это была четвертая и последняя беседа с Любовью Иосифовной. Я, правда, не рассказал о третьей, но она была невыразительной, почти не отличающейся ничем от двух первых.

— Ну вот, Вы зачем-то обидели нашего профессора, — сказала Табакова.

— Разве он сделал Вам что-нибудь плохое? Он к Вам как раз очень хорошо относится.

— Он другим сделал плохое. Я не могу с ним сотрудничать.

— Почему же?

— Я уже говорил ему лично. Когда я смотрю на него — вижу перед собой детей Леонида Плюща. Двух его осиротелых мальчишек.

— Виктор Александрович! Вот Вы все говорите о признании здоровых людей психически больными. Скажите, а у Вас есть основания так утверждать? Вы что, лично знали кого-нибудь?

— Да. Знал Плюща. И ни на минуту не сомневаюсь, что это здоровый человек.

— Как Вы можете это утверждать, оспаривать мнение медицины?..

— Вы забываете, что я сам немножко медик. Хоть здесь и не обязательно быть медиком. А еще я хорошо знал Романа Фина, тоже признанного Вами больным.

— Ну, насчет Плюща — все-таки не говорите... покачала головой Любовь Иосифовна.

Как-то странно она это сказала. Словно Плющ все-таки и вправду больной, а вот о Фине, мол, говорить можно... Или она просто опустила Фина, поскольку не знала о нем? Во всяком случае я сделал вывод, что Л.И. Табакова о деле Плюща осведомлена. И подумал: а уж не она ли и вела его?

Остальной разговор мало чем отличался от предыдущих. Правда, на этот раз я ответил на ряд ее вопросов бытового характера, по пунктам моей биографии. Сам не знаю, почему отворились мои уста. Молчал-молчал, а тут вдруг заговорил. Или так со всеми бывает? Рассказал (это так ее раньше интересовало) о своем конфликте на Уманском витаминном заводе и о моем увольнении с него в 1970 году... О разводе с первой женой... О бандитском выселении из квартиры в Солнечногорске Московской области в 1971 году, когда государство выбросило нас на снег, вместе с беременной женой и четырехлетним сыном.

По времени это была самая долгая беседа, длившаяся часа полтора. Я заметил, что Любовь Иосифовна на этот раз ничего не записывала.

Видимо, эта беседа и дала потом основание врачам записать в акте экспертизы: «... сначала держался скованно, отказывался участвовать в беседах. Однако позже стал разговорчивее, охотнее отвечал на вопросы».

В заключение я попросил Любовь Иосифовну еще раз показать меня терапевту и сделать анализ крови на сахар. Дело в том, что с некоторых пор я стал ощущать сильную жажду и сухость во рту, особенно по ночам. Пересыхало во рту так сильно, что язык и небо покрывались какой-то густой горьковатой слизью, и мне приходилось по нескольку раз в течение ночи ходить в туалет — полоскать рот. Это непроходящее пересыхание доставляло мне немало страданий. В конце концов я серьезно забеспокоился, решив, что у меня начинается диабет, сахарная болезнь. Симптомы совпадали.

Любовь Иосифовна пообещала сделать нужные анализы.

«В чистоте и честности...» Врачи отделения. Кандидаты наук

Спускаясь несколькими ступеньками ниже по иерархической лестнице 4-го отделения... Врачи, имеющие ученые степени кандидатов медицинских наук. Их четверо: Любовь Иосифовна Табакова, Альфред Абдулович Азаматов, Светлана Макаровна (фамилии точно не знаю, кажется, Печерни-

кова) и Альберт Александрович Фокин. Я перечислил их в той последовательности, в которой они при равных должностях различались все-таки по степени значимости. Здесь, видимо, учитывались возраст, опыт и доверие начальства. Кстати, только эта ученая четверка и допускалась, как я понял, к обследованию заключенных с политическими статьями.

Итак, Любовь Иосифовна Табакова, мой лечащий врач, моя психиатрическая судьба... Я уже давал ее портрет. Не могу сказать, что чем-то выделялось, цеплялось за память это красивое и усталое лицо — лицо буфетчицы из какого-нибудь павильона «Русский чай». Должен сказать, что я вообще не встретил в институте Сербского среди женщин-врачей каких-то интеллектуальных, несущих на себе отсвет профессии или научного сана лиц, какие, бывает, встречаешь в научных институтах, в клиниках столичных. Были это обычные, лишь по красивей или подурней, примелькавшиеся женщины, каких видим ежечасно в любом автобусе, магазине, метро. Щеголяли друг перед другом обновками, поскрипывали по коридору новыми сапогами на платформе, пробегали с электрочайником в обеденный перерыв... Хотя, нет, была на них все-таки одна печать, которая, может быть, и отличала их от ученых коллег в клиниках или вузах. Это — печать равнодушия и апатии. Да, какая-то неодолимая скука была написана на всех этих лицах (и на мужских тоже), и она затушевывала, стирала и ученость их, и интеллект. Вот и бегали они, создавая видимость величайшей занятости, с пухлыми папками под мышкой, и стояли, отбывая повинность ежедневного обхода, над койками своих подопечных, — совершенно безучастные к ним, и беседовали с ними, как сомнамбулы, — глядя сквозь них, в никуда...

Любовь Иосифовна всегда куда-то торопилась.

— Ну мы еще поговорим с Вами!..

— С завтрашнего дня мы будем часто беседовать, часто!..

Таковыми «завтраками» все до одного врачи ежедневно кормили своих поднадзорных. Обещали и не исполняли. Случалось, что одна «беседа» в месяц — и довольно. А чего было жизнь усложнять, ведь с уголовным делом, с бумагами, работалось проще, и к этому привыкали.

В разговорах Любовь Иосифовна была мягка, корректна. Голос грудной, негромкий, но... мягко стелят — жестко спать. Была она обидчива и злопамятна.

— Что Вы меня учите! — вспыхнула однажды. — Что Вы вопросы задаете? Это я должна их задавать. А Вы — отвечать, как положено!

— Я психиатр с двадцатилетним стажем и знаю, что делаю! — почти крикнула еще как-то раз.

Улыбка слетала с нее в эти минуты, и красота тоже. И уже не гиппократова пра-пра-правнучка сидела передо мною — обычная тюремщица с плеткою в руке.

А однажды... Я сам видел, как вывели прапорщики из «политического» бокса зека в синем халате — исхудалого, кожа да кости (может быть, голодовку держал?), с пергаментным, неживым лицом... Правда, глаза — пылали, ненавидели, кричали, и какая-то улыбка презрения была в них. Его вели в процедурную, явно на укол. А сзади бежала — с красным, искаженным от злости лицом «мягкая», «женственная» Любовь Иосифовна.

И укрылись все в процедурной на несколько минут... Только какая-то возня доносилась оттуда. Потом так же проволокли зека к выходу, т.е. очевидно в карцер, и так же семенила за ними Табакова — распаренная, слепая.

Вы конечно же помните этот случай, Любовь Иосифовна? А что Вы делали вечером в этот день? После работы, Может быть, ходили в оперу? Или смотрели балет?

И таким же был Альфред Абдулович Азаматов. Невысокий, черный, тихий, плавный. Он тоже, проходя по коридору, всегда здоровался со мною мягким полупоклоном. И смоляная татарская прядь падала в эту минуту на его скульптурное остзейское лицо. Красивое у Вас лицо, Альфред Абдулович! Я представляю, каким успехом пользуетесь Вы у женщин! Правда, вот некий Роман Фин говорит, что у Вас лицо, я извиняюсь, палача-изувера...

А Вы помните этого Романа Фина? Ну да, тот биолог из Пушкинского академгородка, что написал какой-то «пасквиль» о т.н. моральном кодексе коммунизма и которого Вы на основании этого, ну конечно же «бредового», сочинения признали в 1971 году психически больным и швырнули в Орловскую спецпсихбольницу?

А в 1969 году Вы сделали то же самое с Владимиром Гершуни... А в 1970 — с Петром Старчиком. И совсем недавно, в 1975 — с Вячеславом Игруновым... О, да Вы — достойный ученик профессора Лунца, Альфред Абдулович! Интересно, а какой у Вас чин в системе КГБ-МВД?

А Светлана Макаровна — тоже воплощенная женственность. Европейская, холеная красота. «Белокурая Софи» — звал ее Игорь Розовский, и зеки, когда она шла по коридору, провожали ее восторженными взглядами. Был у нее сын Максимка, души в нем не чаяла нежная мама, и рассказывала ежедневно о нем всем — сестрам, нянькам, чуть ли не зекам. Интересно, а этот Максимка знает о том, что его добрая, верная, красивая мама работает тюремщицей? И что это ее узкая, теплая, холеная рука выписала путевку на этап в дурдом наивному сироте-правдолюбцу Ване Радикову?

И такого же сироту-правдолюбца, как Ваня, отправил в 1970 году в психиатрический застенек молодой, изящный и самоуверенный «кандидат медицинских наук» Альберт Александрович Фокин... А ведь вся «вина» Михаила Кукобаки, рабочего Александровского радиозавода, состояла в том, что он... отказался участвовать в «самых демократических», «самых народных» выборах!

Это лишь одно имя, что я знаю. А сколько их еще в «послужном списке» Альберта Александровича?

Я думаю, что рано или поздно люди узнают все эти имена.

Тоска. Споры с Полотенцевым

Не текли — ползли, медленно и вяло, дни и часы моего второго срока. Они не были богаты внешними событиями, но внутренне, душевно — насыщены и напряжены.

Во-первых, пришла тоска. Почему-то стало чаще думать о доме, о Нине, о ребятах, причем как о чем-то недостижимом, потерянном безнадежно. Раньше так не было. Тут еще непонятное известие о Нининой болезни, воскресные раздумья над листками передач... Дело в том, что несколько воскресений подряд, хоть передачи и поступали, листки-описи на них заполнялись чьей-то незнакомой, каждый раз новой рукой. Наконец 24 февраля почерк Нины, но... в «титуле» листка, там, где заполняются графы «от кого» (фамилия, № паспорта и т.д.), приписано (так часто она делала, вертухаи по инерции не замечали): «Дети здоровы. Болела — острый гайморит. Возвращаюсь домой. Целую, Нина».

Проклятый эзоп! Так часто изощрялись в иносказании, что видим его там, где не следует. И я расшифровал Нинину приписку, как сообщение о том, что ее... арестовывали! «Возвращаюсь домой». Откуда? Из Москвы, конечно. Но с гайморитом в больницу обычно не кладут, тем более иногороднего — в Москве... Тогда что же с ней было? Может быть, гайморова полость... полость... иногда говорят «камера»... Ну конечно, это так! Камера, то есть тюрьма!

Все это тревожило, томило, обостряло тоску. Часто болело сердце, и я то и дело ходил пить корвалол. Появилась апатия. Я почти перестал играть в шахматы, стал мало читать. А если читал — ловил себя на том, что не вникаю в суть: гляжу в книгу, а думаю о своем. Особенно тошно стало после отъезда Игоря.

Вместе с тоской пришел и еще один непрошенный, неведомый доселе гость — сомнение. Ну пусть не в самой крайней форме, не в плане пересмотра позиций и убеждений, но зацарапали какие-то острые коготки: а все ли было правильно сделано?.. как глупо и неосторожно вел себя перед арестом... вот стихи эти про нагорных и подгорных свиней написал, зачем?.. И еще: правильно ли веду себя, отказавшись от участия в следствии? Ну, сделают, как обещает Дмитриевский, 70-ю статью, от них не станет... В общем, много было передумано в те бесконечные часы.

Еще и новый мой сосед, оживший чернобородый «пророк» Полотенцев вольно или невольно вставлял персты в мои невидимые раны. Намолчав-

шись за долгие месяцы, он теперь говорил без умолку. Говорил именно тогда, когда мне больше всего хотелось молчать. Говорил он, правда, только со мной и Володей, оглядываясь на дверь, продолжая оставаться для всех остальных окаменелым, безумным Семеном Петровичем. Хорош безумец! Это был культурнейший, образованнейший человек, буквально давивший меня своей эрудицией, а главное, обладавший удивительной, я бы сказал магнетической силой убеждения. По образованию он был экономист, окончил институт в Киеве. Себя скромно называл «коммерсантом». Какой там коммерсант, ему бы впору государственным деятелем быть, хотя... не приведи Господь! Не сомневаюсь, что он был бы и прекрасным коммерсантом, такая голова украсила бы негоциантское ведомство любого государства.

Статья у него была такая же, как у Володи Шумилина (социалистическое государство не любит негоциантов), только размах не тот. Ну этак в 10 раз больше, причем он-то знал, что и куда приложить. И если Володина цель была — уничтожить деньги, то у Семена Петровича — их растить. Работал он где-то в системе Внешторгбанка, впрочем, я могу и ошибиться, так как рассказывал он о себе неохотно. Знаю только, что после ареста он сидел во внутренней тюрьме КГБ на Лубянке, а уж туда простого смертного не посадят.

И еще знаю, что он скитался по психиатричкам чуть ли не два года, вот и в Сербского второй раз привезли...

Мы спорили с Полотенцевым часто, буквально по каждому поводу. Это было чуждое, даже враждебное мне мировоззрение, мы просто жили в разных измерениях. Не могу сказать, что это мировоззрение было оригинально и мне внове, но я никогда еще не встречался с его носителем вплотную. Раньше я знал о его существовании по книгам, главным образом по плохим советским книгам, теперь же это мировоззрение клокотало — да еще с какой вулканической силой! — на расстоянии вытянутой руки от меня.

Полотенцев исповедовал культ силы во всех ее проявлениях: сильной личности, сильной крови (да, даже так), сильной идеи, сильной власти, сильной нации, сильной расы. Во имя движения к вершине такой силы оправдывалось все. «Моя нравственность — воля», — говорил Семен Петрович.

Стоило видеть, как он это высказывал! Сам Полотенцев был, конечно, волевой, сильной личностью. В практической жизни для него много значили деньги.

— В этом мире все покупается и все продается, — заявлял он. — Все!

— Нет, не все, Семен Петрович, — возражал я. — Не все завоевывается деньгами. Так же, как и силой, — и приводил примеры великих бессребреников.

— А-а! Мало дали! — рубил на все примеры Полотенцев.

О, какой великолепный Шейлок сидел передо мной!

Идеалом сильной государственной личности Семен Петрович считал Наполеона. Его боготворил, прекрасно знал историю наполеоновской империи. Идеал государства видел в крепком, по возможности мононациональном устройстве с централизованной властью в лице сильного управителя, монарха или диктатора. В этом плане ценил Сталина, Гитлера, в современном мире — Фервуда, Пиночета. Демократию для всех — отвергал.

— Русскому народу — демократию? Вы представляете, что из этого получится? Вы что, серьезно верите в т.н. народ, в это тупое, послушное, отравленное алкоголем стадо? Да ему нужна узда, вечное и прочное ярмо, он сам его на себя напялит, он не может без него, привык!..

Трудно даже назвать все темы наших споров. Особенно жарко, помню, мы говорили о нациях. Он, еврей, считал русскую нацию сильной и отсюда выводил ее абсолютное право на государственное подчинение и постепенное поглощение всех других, менее численных наций. Многие народы в составе СССР он считал «неполноценными», отсталыми биологически, в том числе казахов, узбеков, кавказцев, северные народности. Он оправдывал как политический геноцид Сталина (например, по отношению к крымским татарам, немцам Поволжья), так и расовый — Гитлера. Даже по отношению к евреям... Тут уж я не выдержал, сорвался, заявил Семену Петровичу, что он попросту расист, и я поэтому прекращаю с ним всякие отношения. И действительно, несколько дней мы провели молча, по своим кроватям. Потом, правда, он извинился за резкость, и наши беседы постепенно возобновились, споры вспыхивали по-прежнему.

Вторым пунктом преткновения был вопрос женской свободы... Полотенцев основывался на евангельском «да убьется жена мужа своего», поддерживал немецкую триаду «дети-кухня-церковь», смотрел на женщину как на существо второстепенное, подчиненное мужчине и целиком от него зависящее.

Споры эти были бесконечны и безнадежны, они изнуляли душу и мозг, и мне хотелось вырваться, уйти от них, но каждый раз я увлекался, вспыхивал и вновь оказывался втянутым в тяжкое их колесо. Надо сказать, Полотенцев умел это делать. И говорить с ним было тяжело: он просто физически давил на собеседника, и не только подбором аргументов, но самой формой их поднесения, безапелляционными интонациями, а главное — неколебимой убежденностью в своей правоте. Я буквально флюиды какие-то ощущал, которыми давила на меня эта убежденность. Никогда раньше я не знал, что так может действовать на человека чужая воля.

«В чистоте и честности...» Младшенькие врачи

Были в отделении еще четыре «младшеньких» врача, у которых, как я полагаю, никаких ученых степеней пока не было. И на обходах они плелись в хвосте, и на комиссиях стояли сзади, у окон возле внутреннего входа в отделение, рядом с малой палатой. Эти врачи, насколько я в отделенческой иерархии разобрался, вели только уголовные и наиболее простые дела.

Самой старшей из них по возрасту была Валентина Васильевна Лаврентьева — невысокая и невзрачная женщина лет 35-ти. Всегда улыбалась глуповато. Модничала неумело, носила черные сапоги-чулки, которые очень не шли к ее коротким кривеньким ножкам. Валентина Васильевна, на мой взгляд, отличалась трудолюбием и исполнительностью, в отделении вела много дел сразу. Допоздна задерживалась на работе. Ее подопечными были Володя Шумилин, Игорь Розовский, Женя Себякин, Валентин Федулов.

С нею же в кабинете сидела Алла Ивановна — высокая как жердь молодая женщина лет 28-ми, черноокая и краснощекая. Она тоже занималась уголовниками. Вот Тумора вела и экспериментировала с ним, я об этом рассказывал... Мне кажется, она вообще специализировалась на «реактивах», часто делала растормозки.

Самой младшей в отделении (и по возрасту, и по опыту) была Мария Сергеевна. Красивая, кругленькая, как говорили зеки — «фигуристая», но было что-то в ней отталкивающее, неприятное. Может быть, большие, выпученные, как при базедке, глаза, к тому же тусклые какие-то, рыбы. Ходила она всегда, задрав голову вверх, и разговаривала, глядя поверх головы собеседника. Причем голос у нее был квакающий, утробный, как у говорящей куклы. Была она, по-моему, глупа как пробка, рассказанные мною случаи с Бучкиным и Никуйко достаточно об этом говорят. Вот уж этой студнеобразной девице, большой и сытой маминой дочке, — никак не подходило быть врачом.

Четвертым доктором, единственным мужчиной, что сидел в кабинете-девичнике, был Геннадий Николаевич — высокий, пучеглазый, будто приторможенный, полусонный (очень он напоминал Марию Сергеевну) молодой человек лет 28-ми. Вел он тоже дела уголовные, был лечащим врачом Б.Е.Каменецкого, Асташичева. Не знаю, как первого, а второго — признал. Надо же подтвердить свою ученость!

Ну вот, кажется, и все врачи 4-го отделения продефилировали перед нами. Поклонились, улыбнулись, прошли не спеша по коридору. Подтянутые, самоуверенные, исполненные чувства власти над нашими душами и государственной важности своей работы.

«Кацетные» врачи.

Мой Мефистофель. Вторая глава о Полотенцеве

Много горьких, но, увы, верных слов высказал Семен Петрович в адрес т.н. демократического движения последних лет. Он как-то очень быстро различил и понял все его трещины. Мы говорили о Петре Якире, недавний процесс над которым все еще глухой болью гудел у меня в душе.

— Как Вы могли им верить, Красину и Якиру, этим маленьким честолюбцам, рядящимся в вожди? — спрашивал Семен Петрович, и я чувствовал, что мне нечем ему убедительно возразить.

— Якир много сделал... — говорил я. — Он был первым, кто начал открытую борьбу против деспотии. Инициативная группа... «Хроника текущих событий»...

Ерунда! — рубил Полотенцев. — Наивные и доверчивые люди. Он просто использовал всех вас в своих честолюбивых целях. И не думал о людях, защиту прав которых провозгласил. Типичный политикан!

Как-то между делом я рассказал Семену Петровичу об образе жизни Петра Якира и его окружения, о тягучих его попойках, о нескольких своих встречах с ним, оставивших тяжкий осадок.

— Х-х-а! — резюмировал Полотенцев. — Ну что я говорил? Он — просто морально опустившаяся личность, а вы... боготворили его... в вожди... Он и предал вас всех, когда настал час. Да такой и не мог поступить иначе. Нет, не может пьяница и слюняй вести людей. Он и вокруг плодил слюнтяев. Вообще, что за методы у вас? Письма протеста! Коллективные, с адресами, голову в петлю! Да что за бравада, что за донкихотство! Вот Вы сами... гордый отказ от следствия! Бумажку какую-то Лунцу недавно вручили... Ах, протест?! Глупости, детский сад! Нет, Вы меня простите, я, конечно, не политик, я простой коммерсант. Но поверьте: ведь там смеются над Вами! Вы просто самоубийцы, забывшие элементарную осторожность, элементарную конспирацию.

— Вы не понимаете, Семен Петрович. Это же не политическая борьба, это движение чисто этическое, нравственное. Люди выступают за свои права, они устали от лжи, молчания. Да, они понимают, что поступают порой неразумно, непрактично, так сказать, но они — другие в чем-то, они... просто не могут иначе.

— Ах, оставьте! Никакие они не другие, если, тем более, что-то понимают. И все Ваши разговоры о нравственности — не что иное, как завуалированное честолюбие. Да, да, все вы честолюбцы. Только есть доверчивые простаки самосажатели, а есть бесы, вроде Красина и Якира. И любое т.н. нравственное, этическое движение, как бы ни бахвалилось оно своей чистотой, в основе всегда есть движение политическое, это доказано историей. Всех времен! Поэтому отбросьте свое донкихотство и будьте политиком. Ра-

зумным и трезвым. Или — если не можете — уйдите совсем. Зачем Вам себя губить ни за грош?

Вот такие монологи падали мне на темя почти каждый день.

— А почему Вы так боитесь признания Вас психически больным? — спросил однажды Семен Петрович. — Кстати, Вас ведь все равно признают, хотите Вы этого, или нет. Такая у Вас статья. Но мне кажется, это для Вас — лучший исход, чем лагерь. Там Вы с Вашим характером, с Вашей «нравственностью» можете и второй срок намотать. Да Вы еще и первого не знаете! Ведь могут запросто переквалифицировать на 70-ю статью. Вам же обещали... Нет, Вы не бойтесь психбольницы. Уверю Вас — выйдете в два-три раза быстрее. Да один только факт суда над Вами, этого... «открытого народного суда»! Вы представляете себе эту картину? О нет! Нет. Я вот себе говорю: «Чтобы эти обезьяны меня судили? Ни за что!»

— Но, Семен Петрович, Вы забываете, что это будет спецпсихбольница.

— Не обязательно. Но даже если так, это же все равно больница! Ну только... вместо палат — камеры. Нет, не бойтесь, поверьте моему личному опыту.

— А принудление? Меня же будут лечить!

— И это не страшно. Знаете, сколько я за эти годы аминазина и трифтазина съел? Ну и что? Важно настроить свою волю. Разве похож я на больного человека? Кроме того, Вас могут и не лечить, не всех политических лечат. Вы сами говорили, что Григоренко не лечат..

И так изо дня в день. Признаюсь, эти разговоры сделали свое: я стал вдруг думать, что мое признание (которое я считал решенным) и правда будет наилучшим исходом. Да, и это было самое удивительное, — я **возжелал!** Я — знавший так много об этой жуткой юдоли, я — так страстно негодовавший по поводу заточения в психиатрический ад моего друга Лени Плюща — вдруг сам, согнув голову, готов был шагнуть к этому аду! Приползали маленькие, липкие мыслишки: ведь у меня сердце большое, а там все-таки врачи... питание там, конечно, лучше, как-никак больничка, **молоко дают!**.. А может, и правда угрозу не в спец, а в простую больницу... во Владимире... Нина будет ходить...

Может быть, не нужно о таком в этих записках, а? Но тогда — распадется картина, утаивается что-то, и я — уже не я...

Не знаю, кто он был, этот Семен Петрович, мой чернобородый искуситель с обмотанной полотенцем головой... Почему мне так тяжело чертить этот портрет — он расплывается, бежит, как изображение на воде, уходит из рук и глаз? Если я четко вижу перед собой лица Игоря Розовского, Вити Яцунова, деда Никуйко, всех моих долгих и коротких сожителей по психиатрической Итаке, то образ Семена Петровича Б. видится как бы сквозь зыбкий, качающийся флер. А чаще я просто слышу его голос — один, от-

делившийся от тела голос, причем звучит он не где-то над ухом, а внутри меня, в глубине... Да, да. Я прошу читателей простить меня за мистику, но во всем облике Семена Петровича, начиная от голого как колено черепа и ассирийской бороды и вплоть до его гипнотических пророчеств, была какая-то трансцендентность, потусторонность. И я думаю иногда: а был ли он наяву, этот психиатрический Мефистофель, не приснился ли во сне, не пришел ли в бреду?

Ну а если отбросить мистику, серьезно? Вот лежит он напротив меня, выставив из фланелевых больничных панталон волосатые ноги, и говорит, говорит, качая на бороде застрявшие на завтраке хлебные крошки... А как он говорил о музыке, о своем любимом Вагнере, о его «Кольце Нибелунгов»!
— Музыка — это мысль! — утверждал Семен Петрович.

И весь он был — эта клокочущая, сложная мысль, весь — какая-то трудная, гнетущая, нечеловеческая музыка.

Я думаю, Семен Петрович был действительно больным человеком. Может быть, самым больным в отделении, хотя — свидетельствую — не было более здравомыслящего среди всех нас. Видимо, это и была т.н. шизофрения в полном блеске своих регалий. Но что такое шизофрения тогда?

А мистика все-таки тоже была. В том, что он угадал и прочел мою душу. И вошел в нее. Вернее, сам Семен Петрович — это было как бы мое материализованное сомнение, воплощение моей тревоги, та уставшая и больная половинка моей души, которая поддавалась на какой-то момент скепсису и смятению.

Все равно, я благодарен судьбе за встречу с этим странным человеком. Это были **мое** сомнение, **мой** искус, и я должен был встретиться с ними лицом к лицу. Хотя бы для того, чтобы победить их.

— Кто Вы, Семен Петрович? Где Вы? Я помню Вас, не забыл.

Он усмехается в ответ, прячет лицо в текучую свою бороду, тускнеет, исчезает. И как подтверждение его ирреальности: вот уже несколько раз, вернувшись из лагеря, пытаюсь найти его — хотя бы адрес, хотя бы след — через «Мосгорсправку». Фамилию даю, имя, отчество, год рождения примерно... главное — улицу даю, где он жил! И в ответ одно, неизменно:

— Нет. Не числится. Не проживает...

Медицинские сестры

Второй эшелон медицинской obsługi в институте — сестры. Их в отделении было гораздо меньше, чем врачей. Сестры выполняли как чисто медицинскую работу (меньше), так и надзорную (в основном). В тот период, когда я находился в 4-м отделении, в нем работали 3 дежурных (сменных) медицинских сестры и две дневных: старшая медсестра и процедурная.

Дежурная сестра являлась важным чиновным винтиком, она по сути была хозяйкой отделения. Она следила за исполнением распорядка дня, принимала новых обследуемых и провожала старых, выполняла медицинские процедуры, вообще — была связующим звеном между врачами и зеками. А в вечерние и ночные часы, когда врачи отсутствовали, в руках дежурной сестры сосредоточивалась вся медицинская и административная власть.

Дежурили сестры по 12 часов, с 8 утра до 8 вечера. Хотя были случаи, когда они работали по суткам. Вообще в отделении было четыре таких сестры, только в январе–марте 1974 г., когда я там был, одна из них не то болела, не то отсутствовала в связи с родами. Видимо, в те дни, когда все сестры были на месте, они работали по суткам, после чего трое суток отдыхали.

Наиболее приятной, пользующейся популярностью среди зеков дежурной сестрой была Анна Андреевна — черноволосая и черноглазая татарка лет 35–40. На ушах у нее качались массивные золотые серьги в форме полумесяца, которые очень шли к ее круглому, лунообразному лицу, пальцы рук были унизаны перстнями. Это была добрая, покладистая женщина, хорошо относившаяся к зекам, независимо от их нрава и возраста, охотно выполнявшая их просьбы. В отделении ее любили. Я ни разу не слышал, чтобы Анна Андреевна на кого-нибудь повысила голос, понервничала, с кем-нибудь конфликтовала. Зеки охотно выполняли все ее распоряжения, слушались не перечая; в свою очередь она допускала возможные поблажки, например: переменить место или перейти в другую палату (по строгому счету это производилось лишь с разрешения врачей), сменить пижаму, помыться в ванне и т.д. Все это она участливо делала лично для меня. Вспоминается такой пустячок. В день поступления в отделение у меня из тетрадей вынули все металлические скрепки (металл в ГУЛАГе — потенциальное оружие, ведь такой скрепкой, чего доброго, вену можно вскрыть!), чем я был нимало огорчен, т.к. тетради рассыпались. Анна Андреевна проявила живейшее участие и сказала, приложив палец к губам:

— Не огорчайтесь, я Вам на следующем дежурстве иголку дам — сошьете. Только не говорите никому.

Обещание выполнила — выдала мне иголку с ниткой. Это «психу-то!» не боялась.

В другой раз я посокрушался как-то при ней, что исписался карандаш.

— Ничего, я Вам из дома принесу.

И принесла, назавтра я получил карандаш. А еще как-то принесла — взамен моей стершейся — новую зубную щетку. Это был и вовсе королевский дар.

При всем том была наша Анна Андреевна обыкновенный служебный чербер. Однажды, уже в конце срока, я долго обдумывал проблему: можно ли попробовать уговорить кого-нибудь из няnek или сестер бросить на во-

ле письмо? Так хотелось сообщить Нине, что обследование, судя по всему, близится к концу, рассказать о себе. Я остановился на Анне Андреевне, это был единственный человек, внушавший доверие и надежду. И осмелился — спросил тет-а-тет. Увы, встретил растерянность и отказ.

— Что Вы! Да нас за это — узнают — с работы немедленно могут снять! Нет, нет, не возьму!

Хочу верить, что на этом и кончилось. Т.е. что Анна Андреевна, проявив понятную осторожность, дальше все-таки не пошла и врачам об этой моей просьбе не донесла.

Напарницей Анны Андреевны была невысокая толстенькая женщина лет 30-ти — Александра Павловна. Внешне и она отличалась мягкостью голоса и участливым отношением к зекам, но в случае надобности — могла быть жестокой службисткой-тюремщицей. Не терпела возражений и проволочек, была мстительна. Это она карала аминазином взбунтовавшегося Хасби Марчиева, она же вызвала заплечную «зондер-команду» для водворения на аминазиновое ложе нашего Майкла-Повелителя трав. Александра Павловна энергично преследовала палатных курильщиков, игроков в домино «под интерес», тех, кто лежал в одежде на постели и т.д. Ее не любили.

Третьей сменной сестрой была пожилая женщина с усталым и безразличным ко всему окружающему лицом — Вера Дмитриевна. Она была незлая и в зековскую жизнь не вмешивалась.

Одной из обязанностей дежурных сестер было ведение журнала наблюдений за обследуемыми (материал в него поставляли главным образом няньки). Была еще смешная обязанность — выдавать «под отчет» нянькам на завтрак, обед и ужин ложки и кружки. После еды няньки так же по счету сдавали их сестрам, и только в том случае, если счет сходился, зекам разрешалось идти на перекур. Очень часто случались путаницы, не хватало то ложек, то кружек. Зеков загоняли тогда в палаты и начинали нудный и крикливый пересчет, к счастью, всегда заканчивавшийся установлением ошибки.

Дневной процедурной сестрой работала молоденькая и миловидная, кудрявенькая тонконожка-легконожка по имени Женя. Ее рабочий день начинался в 8–8.30 утра, с этого времени и часов до трех дня по коридору приятно рассыпался стукоток ее каблучков. В Женины обязанности входил забор анализов (крови из вены) и исполнение различных процедур. Она же всегда сопровождала врачей при их обходе. На ней же, по-моему, лежала всякая медицинская писанина, в частности ведение лабораторных журналов и историй болезни.

Еще была в отделении старшая сестра, которая заведовала инвентарем, одеждой и различными хозяйственными делами. Она организовывала в баньные дни смену белья, постелей и т.д. Старшая сестра производила также, я

об этом уже говорил, закупку продуктов на личные деньги зеков в близлежащих магазинах, и эта работа, было видно, ей очень нравилась.

А что если?..

А может быть, все было не так? Почему на этого трансцендентного Семена Петровича вроде бы валю всю вину за шатания-сомнения свои? Может быть, есть им какое-нибудь более материалистическое объяснение?

Тут я подхожу к одному, в некотором роде деликатному вопросу... Конечно, все это одни предположения, догадки, но не задать этот вопрос, коли он возник, — не могу.

Спустя добрых полгода после описываемых событий, находясь в Юрьевском лагере и получив свое первое двухдневное свидание с Ниной, я на нем рассказывал ей о своей Одиссее. В том числе и об институте Сербского, о Семене Петровиче, об этих, только что описанных смятениях... И Нина, выслушав мой рассказ, вдруг спросила:

— А не давали ли тебе какой-нибудь препарат? Ну что-нибудь расслабляющее волю, способствующее расслаблению, откровению, пересмотру позиций? Может быть, тебе что-то подмешивали в пищу?

А и правда, почему я сразу не подумал об этом?

Сухость во рту! Этот так помучавший меня в институте симптом, заставивший даже подумать о диабете! Но меня в конце концов посмотрел терапевт, сделали анализы и не нашли никакого диабета. Что же тогда?

Сохнет во рту от многих лекарств, в том числе нейролептиков. И я думаю: врачи, которых так смущала моя «напряженность», запросто могли назначить мне какой-нибудь «растормаживающий» препарат. Техника? Ну, это пустяк, всыпать порошок в предназначенную мне тарелку — не составило бы никакого труда. И главное — все так совпадает... Впервые я ощутил это пересыхание рта числа 20 февраля, т.е. сразу после моей первой, безрезультатной для них комиссии. И после того, как выбыли Яцунов с Асташичевым, и мы с Шумилиным остались в палате вдвоем. Тарелку мне — тарелку ему, куда как просто. Может быть, поэтому к нам в палату и не подсеяли никого, хотя были свободные койки, и многие просились. А когда остался один Полотенцев, еще и проще для манипуляций стало, ведь он ничего больничного не ел.

И моя «растормозка» тоже где-то с этого времени началась... А когда это я разоткровенничался с Любовью Иосифовной? Ну конечно, 25 февраля! И тоска моя, и сомнения — все тогда, тогда. А Полотенцев только ускорил, помог, стал своеобразным катализатором.

В пользу этой версии говорят и другие симптомы. Например, частые головные боли. В большой палате не было, а тут то и дело ходил к се-

страм «тройчатку» просить. Еще апатия, вялость... А эта тоска, сжимающая сердце? А разбредающиеся мысли, невозможность сосредоточиться при чтении?..

Сухость во рту как рукой сняло в Бутырке, после первой миски баланды. Несколько позже, постепенно, вернулись энергия мысли, желание и возможность читать, ушли апатия и тоска. И сомнений не стало, все как на ладони, четко и хорошо. Вот теперь бы мне поспорить с Полотенцевым!

В общем, я не говорю «нет» Ниониной версии. Очень даже могло быть. Наверное, и было. В конце концов, институт «научно-исследовательский». А что касается моральной стороны дела, то ведь наши врачи — «классовые врачи». Тем более, в институте Сербского, где «во имя истины» (читай: в интересах государства) могли быть применены любые методы, вплоть до «растормозок», до «наседок». Да мало ли чего я еще не знаю.

Я не говорю и «да». Все это в конечном счете лишь логические построения. Хотя и вероятные.

Я говорю — «может быть». В наш век химия может творить чудеса.

Няньки

Я уже говорил о той исключительной роли, которую играла в Институте дураков нянька. Да, обыкновенная, рядовая, советская нянечка, няня, нянька, а попросту — санитарка, младший технический персонал. О, это был врачебный, научный, администраторский, берите выше — государственный глаз в лице простоватой, недалекой, ни за что вроде бы кроме своих простейших обязанностей (обед принести, постель заменить, полы потереть) не отвечающей тетки.

Как правило, все институтские няньки были женщины в возрасте после 40–45 лет. Все работали в институте подолгу, некоторые свыше 20 и даже 30 лет, и в своей работе, конечно, поднаторели. Уж что-что, а отличить истинного больного от симулянта няньки — я не сомневаюсь — могли надежнее и быстрее, чем врачи.

Няньки держались за свою работу крепко, и это было понятно, т.к. здесь они получали намного больше, чем могли бы заработать в обычной больнице. Они получали надбавку за работу с психиатрическим контингентом, надбавку за риск, т.е. за работу с заключенными, в тюрьме. Видимо, у них были и какие-то воинские звания, рядовых или сержантов войск МВД, за что они также получали накидку к зарплате. Как и за выслугу лет, за стаж работы в институте. В общем, на круг выходило для няньки с 20-летним стажем, как говорила мне одна из отделенческих нянек, Олимпиада Никитична, где-то в размере 120–130 рублей в месяц, что по советским стандартам сумма приличная. Работай та же Олимпиада Никитична санитаркой в

простой больнице, она не получала бы больше 60–65 рублей.

В разговоре с той же нянечкой выяснил, что поступить на работу в институт Сербского нелегко, для этого требуется безукоризненная биография, и все, поступающие впервые, проходят длительную проверку через спецчасть института.

Надзорные няньки день и ночь находились в палатах, а если и выходили днем куда-то ненадолго, то их на это время подменяла сестра. В «боксе» были две свои няньки, по одной на каждую маленькую палату.

В наших палатах чаще всего дежурили:

Тамара Павловна — высокая черноволосая женщина лет 50-ти с умным, интеллигентным лицом, чем она резко отличалась от своих товарок. Была она явно не из пролетарской семьи, выделялась культурной, этакой старомосковской речью, воспитанностью и застенчивостью. Знаю, например, что она любила классическую оперную и камерную музыку и терпеть не могла постоянно гремевшую из палатного рупора эстраду. К зекам Тамара Павловна относилась дружелюбно, мягко, почти всех звала на «Вы», приносила из дома журналы и книги.

Резкой противоположностью ей была Анна Николаевна — толстенная, зычная, белобрысая тетка, служившая в институте свыше 30 лет. Она любила ходить по палате, оперев руки в бока, голос у нее был с хрипотцой, как у пропойного солдата. Эта могла и крикнуть, и матюгнуть. И в то же время к зекам — подлаживалась: травимых — травила так же и высмеивала, к блатным и заводилам относилась подобострастно. Очень не любила «интеллигентиков», «очкариков», уж эта церберша была надежной опорой т.н. рабоче-крестьянской власти!

Такой же неровной, двуличной была и Олимпиада Никитична, самая молодая из всех. Была она тощая, злая, так и светилась коричневой желчью. Завидовала всем открыто: другим нянькам, врачам («ничего не делают, а много получают!»), даже зекам — которым, например, приносили богатые передачи.

Осмотр и обсуждение передач вообще было одним из любимых занятий для няnek, даже сестер; говорили об этом вслух, не стесняясь:

— У Каменецкого опять красная рыба сегодня!

— А Некипелову снова сервелатной колбасы принесли! И где только берут!

Еще помнится из отделенческих няnek Анна Федоровна — невысокая, говорливая женщина 52-х лет. Эта любила поговорить с зеками, умела найти к ним подход, даже к самым отчаянным. Так, она искренне привязалась к Вите Яцунову, жалела его по-матерински. После выбытия Вити у нее была не менее тесная дружба с Володей Выскочковым. Ко мне она тоже относилась хорошо, доверительно, как к равному. Также и к Володе Шумилину.

И думаю сейчас: а ведь делали и добро эти неусыпные стражницы институтских палат и коридоров. Пусть крохотное, нечаянное, но ведь Добро!

Прогулка. Болезнь

1 марта состоялась, наконец, долгожданная прогулка. Полтора месяца взаперти, без глотка свежего воздуха, без живого контакта с ветром, небом, облаками. Полтора месяца упорной «траншейной» войны с Ландау за этот живой глоток — можно ли рассказать о чувствах, охвативших меня в столь праздничный час! Но каково же было мое удивление, когда обнаружилось, что желающих пойти на прогулку раз-два и обчелся! Выскочков, я... ну еще человек пять. Это из 26! О, извечная косность уголовной природы, тяга к покою и теплomu углу. Я это и в следственной тюрьме во Владимире наблюдал: люди, особенно молодежь, не хотели выходить из вонючих, прокуренных камер, вертухаям иногда приходилось чуть ли не пинками выгонять зеков на прогулку.

— Вот политические всегда за прогулку, всегда ее требуют, — сказал кто-то из зеков. — Хоть дождь, хоть снег.

Медсестра Анна Андреевна, нянька и вертухай-«прометей» повели нас по лестницам. Где-то в подвале, в крошечной каморке-раздевалке каждому выдали стоптанные «коцы» (башмаки) без шнурков, рваные ватники и шапки. Мне достался выщипанный рыжий трех образца 20-х годов и совершенно неприличная, мазутная телогрейка. И это — в центральном научно-исследовательском заведении, где на питание тратится, почти как в санатории, полтора рубля в день на человека!

Плывать! драные, как беспризорники времен Гражданской войны, но счастливые, мы вышли в прогулочный двор — в мартовскую капель, в воробьиную многоголосицу, в ломкую, уже почти весеннюю голубизну.

Дальше — умолкаю. Мы ходили по кругу и, как говорят в стране Гулаг, «балдели»: лопотали что-то невпопад, смеялись беспричинно и — дышали, дышали!

К сожалению, прогулка эта вышла для меня боком: отвыкший организм немедленно отреагировал простудой, и на следующий день я слег с температурой. А еще через пару дней заложило лоб, скулы — пришел мой старый друг гайморит. Болезнь как-то совсем расслабила меня. Переполошилась и Любовь Иосифовна: примчалась тут же, пощупала мне лоб, назначила УВЧ. Сказала, что на 5 марта назначена комиссия, но теперь придется ее отложить.

И это сообщение не только не обрадовало, а лишь усилило тоску. Я понимал, что досрочная комиссия могла означать лишь признание меня здоровым, но... ведь Семен Петрович, мой демон-искуситель, нашептал мне в

уши, что признание — это хорошо, хорошо...

Вот так и я возжаждал «психиатрического рая» и обомлел, теряя его... Медленно ползли, тянулись бесконечно эти последние дни. 4 марта простились с Володи Шумилиным. Полотенцев совсем распоясался и доводил меня до ручки, очень трудно было спастись от этого «супермена». В палату стал забредать недавно появившийся в отделении Валентин Федулов, художник с «Мосфильма», севший за драку. Это был тихий деликатный молодой человек с красивой улыбкой и серыми «рублевскими» глазами. Рисовал он даже очень неплохо, и зеки наперебой осаждали его заказами. Еще до отъезда Володи Шумилина он сделал (по совету Семена Петровича — для будущих «предвыборных» плакатов) его портрет: в руках у Володи денежная банкнота, и он смотрит на нее, как Гамлет на череп бедного Йорика, — туманным и мудрым взором. Сделал Валентин и мой портрет. Вот он лежит сейчас передо мной — карандашный рисунок на листке ватмана, с датой 9.03.74 г. и с закорючкой авторского факсимиле... Конечно, я на нем не очень похож, художник как-то утяжелил черты, но вместе с тем — в глазах, в тревожных складках у рта — есть что-то от моей смуты и усталости тех дней.

Валентин делал и другие, в том числе и сюрреалистические рисунки. Например, по моему заказу, — «Сомнение». Этот рисунок тоже сейчас у меня: хороший, напряженный, жутковатый. На нем — согнувшийся от внутренней натуги человек, между рук которого, в пустой, черной груди, — большое, натуральное, в жилках сосудов сердце (его сердце), вокруг которого обвилась змея. Человек давит змею, пытается оторвать, но он делает это как-то нерешительно, отрывает — любя, лаская... Это ведь его змея, его сомнение. А на груди, над сердцем, — два призрачных, больших, устремившихся в Никуда глаза...

Встретив одобрение со стороны зеков, Валентин стал делать и более странные рисунки: скелеты, гробы, змеи, сосущие мозг и т.п.

— А я так вижу, — говорил он, мило улыбаясь, своей врачихе, Алле Ивановне, и та только взвизгивала от ужаса. И боюсь — верила.

Числа 10 марта, оправившись от простуды, я устроил, по просьбе Валентина и нового моего знакомого Саши Мозжечкова, «литературный вечер» — почитал свои стихи. Валентину это был как бы «гонорар» за рисунки. Понравилось. Некоторые стихи я выписал им на память: «Таити», «Эвкалипты в Крыму», «В прогулочном дворике».

Вот так текли последние дни в Институте дураков. А за окнами — искрился март, бряцали сосульки, и голуби на карнизе заводили весенний кавардак. Жизнь продолжалась, томила и властно звала вперед — к новым, неведомым берегам.

Вертухай

При всей надежности медицинской службы Гулаг не мог все-таки переверить арестантские души институтской медицине. Охрану их денно и ночью несли прапорщики; в институте их была, кажется, целая рота. Две маленьких звездочки, расположенных по оси красного погона (цвет внутренних войск) — этот недавно введенный чин получил широкое распространение в сегодняшнем Гулаге. Не офицер, но и не рядовой, а в общем-то привилегированный плебей, кадровый служака, исполнительный и надежный наемник — вот что такое нынешний прапорщик. По сути это было то же, что до недавнего времени рядовой или сержант сверхсрочной службы, хотя звание прапорщика куда более доверительно и почетно для этой публики, к тому же явно ближе к офицерскому званию. В тюрьмах и лагерях сейчас очень многие караульные и технические должности заняты именно прапорщиками. Был набит этим воинством и институт имени Сербского.

Прапорщики несли, прежде всего, охранную службу в отделениях, дежурия по восемь часов. Не знаю, как в других больших отделениях, но в нашем всегда находился охранник. Днем и ночью он мерно вышагивал, поскрипывая сапогами, по коридору, изредка заходил в палаты. Он всегда был без головного убора, поверх мундира на нем был белый халат. Ни в какие «внутренние дела» отделения дежурный прапорщик не вмешивался, просто — присутствовал. Правда, у него были ключи от наружных дверей, и если какой-то няньке нужно было выйти (например, вывести куда-нибудь зека или за обедом сходить), то она говорила об этом вертухаю, и тот отпирал дверь. На врачей это не распространялось, у них были свои ключи у каждого. По утрам, после завтрака, прапорщик отправлял на работу «трудовую команду», он же приводил ее обратно в конце дня, самолично обыскивал в коридоре, прежде чем ввести в отделение.

Я уже говорил, что вертухай следили за исполнением распорядка дня, за общим порядком в отделении. Например, после каждого приема пищи они давали «добро» на перекур, они же зажигали спичку, чтобы дать зеку прикурить. Отношения между прапорщиками и медперсоналом были корректными, чисто служебными, особого контакта я не наблюдал, и это можно понять — медиков, видимо, этот лишний надзор тяготил. Зеки тоже держались от них, как от всяких мундиров, на расстоянии, хотя прапорщики иногда подходили — заговаривали: скучно же было слоняться восемь часов по коридору.

Чаще всего у нас дежурил невысокий круглолицый прапор лет 35-ти со смешным белобрысым хохолком, торчавшим на макушке, и круглыми глазами с белесыми, часто моргающими ресницами. Был он человек тихий, глупый и трусливый. Это у него постоянно не сходился счет в ложках, и

его же чуть не хватил удар, когда Витя Яцунов спрятался после отбоя под столом.

Вторым был молодой узбек с безволосыми щеками-мячиками и колбасной шеей, тоже тупой и дрессированный до предела. Вспоминаю один забавный разговор с ним.

Как-то повадился этот страж забредать к нам в палату — станет в дверях и стоит, молча, рассматривая нас узенькими азиатскими глазками. Не помню, с чего начался разговор, но я высказал мысль, что жизнь каждого человека отражается на его лице.

— Дя, дя, — залопотал согласно узбек. Говорил он очень смешно и мало-понятно.

— Ну вот у Вас, например, — сказал я. — Какие у Вас страдания, какие переживания?..

— Ой-ей! — всполохился вертухай. — Засем ти так говолишь! Дя у меня такие стлядания, такие стлядания! Вот, посмотри, посмотри, какой лан!

И он отогнул воротник мундира, показывая белый рубец на шее. Далее последовал взволнованный рассказ — о том, как однажды он, будучи мальчиком, отправился вместе с братом пасти быка, а бык вырвался от них и убежал, мальчишки бросились разыскивать быка, порознь, заблудились в солончаках, намучались, наголодались (они блуждали чуть ли не двое суток), исцарапались о колючки, в довершение всего найденный бык полоснул мальчишку рогом по шее...

И все равно: это давнее «стлядание» никак не было написано на его круглом, масляном личике.

Была в институте еще дежурная карательная команда из прапорщиков, которую вызывали по надобности, и я несколько раз видел ее приход: когда делали укол Майклу, когда взбунтовался Хасби Марчиев...

Кроме охраны институтских коридоров, прапорщики несли наружную охрану, во дворе. Из своего окна я иногда видел прогуливавшегося по двору вдоль стены прапорщика в черном полушубке с огромной жирной овчаркой на поводке.

В заключение один курьезный случай. Как-то, в канун 8 марта, нашего зека-художника Валентина Федулова завалили заказами — рисовать стенные газеты. Сначала для отделения попросили, потом Анна Андреевна лист ватмана принесла — для ее дочки в школе... Выдали ему краски, карандаши, и он малевал целый день в нашей палате, как в более спокойной.

И вот дежуривший вертухай — прапорщик с хохолком — не выдержал, тоже приволок лист, попросил сделать газету и для их воинства. Принес эскиз: название должно было быть «Прапорщик», ниже следовало — «Орган партийной и комсомольской организации подразделения капитала... имярек». Валентин взялся. Помню, изобразил во весь рост залихватского, улы-

бающегося прапорщика, с ладонью под козырек, и над ним надпись: «С праздником, дорогие женщины!»

Я посоветовал Валентину подвесить прапорщику на пояс тюремный ключ и дубинку. Посмеялись. Дубинку он, правда, рисовать не стал, а ключ изобразил — огромный Тюремный ключище на колечке. И еще вместо прежней надписи сделал: «С праздником, дорогие боевые подруги!»

Вертухай поглядел — засомневался:

— Вы знаете... неутвержденный текст. И уж больно он тут улыбается... воротник расстегнут..

Мы дружно заверили, что текст прекрасный. И улыбка тоже. И прапорщик галантный и изящный. Это же для женщин так!..

Ушел наш вертухай, но вскоре вернулся.

— Нет, я все-таки должен согласовать!

Унес газету куда-то. Конечно, пришлось убрать «боевых подруг». И ключ тоже.

— Знаете, это не типично, — сказал Хохолок. — Мы ведь ключи в кармане носим.

Нарисовал Валентин вместо ключа кобуру. А морду сделал еще более глупую — улыбку во весь рот и уши лопухами.

Так иногда развлекались мы...

Из дневника. 10 марта 1974 г. Воскресенье...

«С утра испортил мне настроение Полотенцев своими дурацкими комментариями по поводу моей зарядки... Удивительная, граничащая с бестактностью самоуверенность; право, этот «супермен», несмотря на свою эрудицию, начинает меня раздражать.

За окном солнечный, голубой мартовский утреник, обещающий замечательный день. В открытую форточку днем просто дуло весной, талым снегом, подсыхающей корочкой земли.

Где-то около 13.00 была передача: от Мальвы, желтенькая сеточка. Где же Нина, почему не приехала, ведь было три нерабочих дня? Болеют ребята? Передали колбасу, шоколад, яйца, много яблок, сгущенку, инжир... Я написал внизу, что «ничего больше не надо, здоров, целую». Однако, примерно через полчаса принесли вновь заполненный рукой передающего листок. Я приписал то же самое.

... Полотенцев несносен и просто отравил мне день. Все азиатские народы СССР, кроме таджиков, считает неполноценными. Также — крымских татар, кавказцев. Репрессии оправдывает, эти споры были и раньше. То же говорилось в свое время о цыганах и неграх. Расист чистой воды! К тому

же «супермен» и Шейлок. «Все на свете можно купить, все!» Здесь я уже не выдержал... Слава Богу, что это последний день».

Типы «бредов»

Коварный и многоликий недуг — шизофрения! Каких только форм ее и вариантов не встречалось в нашем 4 отделении! К сожалению, я не психиатр и не смогу поэтому рассказать о них со знанием дела, все разложить по диагностическим полочкам. А в учебник по психиатрии сознательно заглядывать не хочу.

Из всех видов «бредов» (я ставлю это слово в кавычки, подчеркивая, что в 90–95% случаев все эти «бреды» — туман, выдумка досужих зеков) довольно часто встречались реактивные состояния, реактивы. Кажется, сочетаясь с шизофренией, это называется кататоническим ее синдромом.

Реактивщиками, как правило, были молодые ребята. Они лежали неподвижно, в оцепенелых позах, безучастные ко всему, что происходит вокруг. Некоторые выражали испуг, прятались, укрывались с головой одеялом («Барон» Кузнецов, Тумор), другие лежали открыто, даже совершали какие-нибудь однообразные, монотонные движения. Например, чернородый реактивщик-сластена все время гладил свою бороду, Ногтеед грыз ногти и т.д. Был еще веснушчатый рыженький мальчонка из г. Чехова Московской области (фамилии не помню), который, особенно не скрываясь, часами мастурбировал под одеялом.

Видимо, нужна была изрядная воля для того, чтобы превратить себя в камень, и поэтому до конца это почти никому не удавалось? Ну, во-первых, все курильщики выдавали себя при перекурах, т.к. в туалетной, освободившись от взора няньки, вели себя исключительно неразумно: разговаривали, смеялись. Оживали и во время еды, в бане. Самым же серьезным испытанием была растормозка, на ней, как правило, все реактивщики «кололись». Но были и такие, что выдерживали. Вот один парень из затемненной палаты (знаю о нем только то, что он был преподавателем техникума) — выдержал. Видимо, поэтому он был в конце концов признан больным.

Более надежным и трудно разоблачаемым «бредом» были так называемые слуховые галлюцинации, голоса. Отбивался от них наш «американец» Вартанян, досаждали они Семену Петровичу, Саше Соколову. Врачей всегда интересовало почему-то, где именно звучит голос, место его нахождения. Видимо, по ответу они могли судить, пахнет тут симуляцией или нет. Вот у Вартаняна голоса звучали «внутри», в ушах, и это почему-то оказалось неправильно. А голоса Полотенцева прятались под кроватью, и это было принято. Еще «хорошие» голоса оказались у «Полковника» — Короткевича: они «сработали» только в момент преступления, а потом исчезли и больше

не появлялись. А сказали они ему только одну фразу, когда он ночью шел с лопатой где-то у себя на Камчатке: «Бей заднюю!» Т.е. он шел по тропинке, впереди него шла какая-то женщина, а сзади другая шла. Но голоса сказали: заднюю! Ну он и ... распорядился.

Признали, кажется, этого человека невменяемым. Видимо, как раз за необходимость действия, и за верность «команде», что ли...

Еще были «бреды» — полные перевоплощения. Вот Вартамян, ощущавший себя американским конгрессменом... Были «раздвоения» на почве какой-нибудь мании. Например, тот же Розовский, человек, будто бы искренне веривший, что растрата казенных денег на тотализаторе не есть преступление. То есть он, может быть, и понимал, что это не очень хорошо, но любовь к русскому рысаку, желание помочь отечественному коневодству были сильнее, и он ничего не мог поделать, не мог совладать с собой. Я склонен допустить, что это действительно была болезненная, маниакальная страсть.

Очень интересный «бред» был у Володи Выходилова — молодого, головастенького москвича, арестованного за драку. Он заявил лечащему врачу (доверительно, «по секрету»), что он-де совершенно здоров, но хочет попасть в психбольницу, т.к. в тюрьме... очень плохо кормят. Главное, там не дают мяса, а он не может без него, так как без мяса у него кружится голова и опухают ноги, ему нужно не меньше 100–150 граммов мяса ежедневно, иначе он просто умрет. Вот так и рассказал: простенько, спокойно.

И ведь удивительно — прошло! Т.е. не могли и подумать врачи, что такая простота (она их и подкупила) — придумка. Правда, вызывали родных, и те вроде подтвердили, что действительно «защелкнут» на мясе этот юноша.

Так и схлопотал себе милый умелец мясную, больничную диету! Ей-Богу, молодец!

12 марта 1974 г. Последняя комиссия

И вот, наконец, 12 марта. Солнышка нет, день пасмурный. Серая скука вокруг. Как всегда, занимаюсь гимнастикой, умываюсь до пояса. Завтрак запаздывает — какой-то ремонт котлов на кухне. Наконец приносят жиденькое какао и овсяную кашу-«геркулес». Последний раз вкушаю эту пищу богов. Полотенцев, как всегда, от пищи отказывается.

— Нет, нет! Я боюсь! Я свое!

Тотчас после завтрака за мной приходит Анна Андреевна.

— Давайте на комиссию. Готовы?

Нищему собраться — подпоясаться. И вот я в третий раз в «актовой» комнате, перед высшим психиатрическим конклавом 4-го отделения. На председательском месте теперь сидит белесый мужчина лет пятидесяти с глад-

кими, зализанными назад волосами. Слева, рядом с ним, — мой прошлый председатель Боброва. Меня усаживают на то же место. За столом напротив, только на этот раз далеко, как бы демонстративно отодвинувшись, оттолкнувшись от меня, сидит Лунц, рядом с ним Табакова. Переговариваются, меня не замечая. На отдалении, как всегда, Яков Лазаревич, Маргарита Феликсовна, Альфред Абдулович, Светлана Макаровна. Еще присутствует Альберт Александрович Фокин.

Вся процедура длится 5–10 минут. Председательствующий спрашивает о самочувствии. Я, как всегда, уточняю: с кем имею честь? И впервые слышу ответ:

— Моя фамилия Качаев.

Следуют несколько бесцветных вопросов с его стороны. Ни Лунц, ни Табакова, не говоря об остальных, не спрашивают на этот раз ни о чем. Запомнилось, что Альфред Абдулович почему-то смотрит на меня сочувствующе и внимательно, он словно буравит меня взглядом.

— Ну все, — произносит Качаев. — Можете быть свободны.

— Может быть, Вы сообщите мне результат? — спрашиваю я у него.

— Гм-м... Вам сообщит лечащий врач.

Ухожу. И буквально следом, застав меня еще в проходе, выбегает Любовь Иосифовна.

— Ну вот, Виктор Александрович! А Вы боялись... Видите, все хорошо!

— Что значит хорошо?

— Ну, в вашу пользу. Так, как Вы хотели!

Она улыбается, глаза ее сияют. Мне показалось даже, в сутолоке заставленного проходика-коридора, что она протянула мне свои руки.

Постскриптум.

Притворялась. В конце длинного, на двух или трех листах акта экспертизы, с которым знакомился месяц спустя на закрытии дела, уже после заключения о моей вменяемости вдруг прочел развеселившие меня строчки:

«Временами старается незаметно для персонала настроить отдельных испытуемых против порядков, установленных в отделении института».

Не знаю, о чем это. Разве о моих требованиях ручки да прогулки? Но налицо была маленькая, булавочная месть Любове Иосифовны — предупреждение Гулагу о моей ... склонности «настраивать против». И это все, что могла...

Как же всё-таки «закосить»?

На протяжении своего, подходящего к концу рассказа я несколько раз подчеркивал, что в Институте дураков таковых по сути почти не было. Вра-

чи, конечно, это понимали, поэтому главной их задачей было не выявление больных, а разоблачение симулянтов. То есть к каждому очередному испытуемому он подходили как к потенциальному здоровому и пытающемуся их одурачить человеку, а это, конечно, определяло как их психологию, так и чисто медицинскую тактику.

И это действительно было так. «Кто кого?» — упорное, медленное это противостояние происходило ежечасно, ежеминутно. И в большинстве случаев не в пользу несчастных зеков... В общем, врачи все-таки делали свое (то бишь государственное) дело — стояли надежным фильтром на пути к психиатрическому «раю». Они были особенно бдительны по отношению к государственным расхитителям, казнокрадам, вообще ко всем, с кого, в случае признания невменяемым, государство рисковало не содрать возможной мзды. Гораздо легче прорваться к заветному дурдому (снижая общесоюзный процент преступности) всякого рода хулиганам, насильникам, даже убийцам.

Какие же можно сделать выводы? Выше я рассказывал, сколь плачевно заканчивались для многих моих сопалатников их отчаянные, зачастую очень смелые и талантливые попытки обмануть столичных экспертов. Ну а можно ли было все-таки обмануть и добиться своего? И как это было проще сделать?

Отвечаю утвердительно. Да. Конечно, я не хочу, чтобы мои записки превратились в этакое руководство для желающих «закосить», да я и не обладаю достаточным знанием для таких советов. Скажу лишь одно: для этого требовался максимум простоты и естественности в поведении, спокойствие, выдержка. Нужно было «завернуться» в себя, как Майкл-Повелитель трав, отключиться от всего происходящего вокруг, прожить эти месяц-два в своем измерении, на своих ветрах.

Как раз многие этого не умели. Опьяненные вкусной едой, они предавались чревоугодию, довольно и вполне по-здоровому поглаживая полные животы. Похихикивали в курилках, громко рассказывали о себе в палатах. А главное, тянулись к ближнему, сдруживались, группировались по палатам и углам. В особенности люди что-то знающие, творческие, ну назовем их интеллектуалами, что ли. Они ведь не могут без общения, без говорильни, без проявления, если не сказать выпячивания, своего «я». Не называю здесь имен, читатель сам легко представит себе всех моих сопалатников.

Очень было важно не выпячивать перед врачом своего желания быть признанным. Никак не нужно было этого высказывать — ни дрожью голоса, ни нагромождением симптомов и ощущений. Вот спрашивал врач каждого: «Были ли в детстве ушибы головы и сотрясения?» Тут и начиналось. Оказывалось, что чуть ли не каждый, начиная с младенческого возраста, то и дело колотился незадачливой своей головой, падая с крыш, с деревьев,

с лошадей... Кроме того у всех были инфекционные желтухи, менингиты, а родственники сплошь лежали в психбольницах.

Форма разговора с врачом, сам характер бесед тоже служили диагностике. Ожидание этих встреч, доверительность, заискивание перед врачом тоже, конечно, становились для эксперта фактами. Не знаю, признал ли в конце концов Геннадий Николаевич больным своего прилипалу — Каменецкого. Если да, то наверняка лишь из чувства почтения к его следовательскому (родственному!) сану, а иначе — ведь ни в какие ворота не лезло это откровенное подхалимство и угодничество.

Между прочим, многим испытываемым, в том числе и мне, задавался вопрос: «Чувствуете ли себя больным?» Некоторым даже совсем прямо: «Хотите ли Вы, чтобы Вас признали?» Ответы, увы, были однотипны. Самым мудрым, мне кажется, был ответ Володи Выскочкава, как-то повезло ему найти не шаблонную, простовато-естественную форму.

Был у нас и такой случай. Лежал в большой палате угрюмый, черный человек, который был абсолютно уверен, что его признают, т.к. в прошлом он страдал припадками и в психдиспансере лежал. И здесь будто бы врачи подавали ему надежду. Особенно успокаивало его, что рентген черепа делали ему трижды, при этом что-то обнаружили на снимке. И вдруг... этого человека вызвали на этап в понедельник, т.е. признали здоровым. Его реакция была совершенно неприличной. Побелев как мел, он бросился в кабинет к врачам (кажется, к тому же Геннадию Николаевичу). Слышно было через дверь, как он кричал, что-то доказывал там. Потом выскочил, вбежал в палату... весь в слезах.

— Да как же меня так обманули! — рыдал он совершенно потерянно. — Я жаловаться сейчас пойду!

Опять подбежал к кабинету, но Геннадий Николаевич заперся изнутри, и несчастный его пациент, всхлипывая, долго колотил в дверь руками и ногами.

В конце концов увели его, конечно. Чуть ли не волоком по коридору.

И все-таки — побеждали зеки. Находились ловкие и мудрые. Чаще всего — те, кто не лез в «рай» силком, напропалую, не стучал головой и кулаками в его бронированную дверь.

Положение политических. Виновны ли врачи?

Совершенно иным было положение в институте им.Сербского т.н. политических заключенных.

— Хотите Вы этого или не хотите, Виктор Александрович, но Вас все равно признают, — говорил мне Семен Петрович, и устами этого чернобородого пророка, увы, гласила истина...

Признание меня здоровым, тот удивительный факт, что советская психиатрическая акула, уже почти заглотив, вдруг меня выплюнула, я считаю исключительно нетипичным. Просто в очень благоприятный для себя момент я попал, — когда у этой акулы, схваченной, наконец, в перекрест прожекторных лучей, загнанной, избалованной, вдруг, как говорят в Одессе, «сделались немножко колики». Случись вся эта история на год, на полгода раньше — и ухнул бы я, не ойкнув, в ее черное, смрадное брюхо.

Да, случаев таких, как со мною, в недавнем прошлом почти не бывало. У меня нет данных, но, основываясь на известных мне фактах, какие случаи признания здоровыми наших инакомыслящих я могу назвать? Единственный — Илью Бурмистровича в 1969 году. Еще — Владимира Буковского в 1971-ом, когда держали его в институте три месяца, а все-таки признали (вынуждены были признать) здоровым. Но это — особый случай, с главным, с первым, с самым мужественным разоблачителем советской тюремной психиатрии просто не могли они в тот момент поступить иначе.

Все остальные — оставались в акульем брюхе. И не дрожали руки у лунцев, азаматовых, табачковых — у всех этих ученых палачей.

Ну, не жалеть, положим, но разобраться все-таки, выслушать, посмотреть...

И когда вдумываешься, пытаешься понять их психологию, их, так сказать, побудительные мотивы, приходишь к выводу, что не все здесь просто.

Ну, во-первых, сама «ученая» концепция, сама трактовка шизофрении и в особенности учение о т.н. вялотекущей ее форме, весь этот симптоматический шаблон, созданный «психиатрическим Лысенко» — проф. Снежневским и иже с ним. Я не говорю здесь о всей порочности и ненаучности этих концепций, широко и авторитетно отвергаемых западной психиатрией, но ведь для советских врачей они, к сожалению, — практический базис и руководство к действию! И действительно, в этот широкий, расплывчатый (но в чем-то четкий, стройный — для нашего, приученного к догматическим рамкам мышления) шаблон легко может быть втиснут любой случай нашего «инакомыслия», «свободолюбия», «правдолюбства» и т.п. «Нешаблонность мышления», «повышенный интерес к общественным и политическим проблемам», «склонность к конфликтным ситуациям», — вы только прислушайтесь к этим симптомным ярлыкам! А чуть дальше уже следуют: «склонность к реформаторству», «бред правдоискательства», «бред оппозиции», «мания антикоммунизма» и т.п., но ведь все это — из наших психиатрических характеристик, и все мы, конечно, — больны, больны, больны.

Тем более, что вялотекущая шизофрения, как уверяет проф. Снежневский, в обычных условиях (о прекраснейшая способность!) может вообще никак не проявляться.

И врачи-исполнители, диагносты — сбиты, обескуражены; они, естествен-

но, не могут не поставить диагноза там, где он налицо.

Большую помощь им оказываем мы сами. Да, я не оговорился. Вторым, и очень существенным фактором для признания нас — здоровых — психами является собственное наше поведение на следствии и экспертизе, наша, так сказать, психологическая модель.

Конечно, эта «модель» является полной противоположностью той привычной, понятной уголовной модели, с которой врачи института чаще всего имеют дело. Те люди понятны, конечно же, — они стучатся сюда, сюда. Они знают, чего хотят, доверчивы, откровенны, смотрят врачам в рот, не спорят, не бунтуют, не качают прав... В общем, это хоть и преступная, но материалистическая, человеческая, как говорили в недавнюю старину, «социально-близкая» психология. Вот ее-то и имел в виду П. Григоренко, говоря о Маргарите Феликсовне, об отсутствии контакта с нею. «Я взглянул на нее и понял, что для нее любой мой ответ бесполезен, что для нее человек, идущий на материальные жертвы, невменяем, какими бы высокими побуждениями он ни руководствовался при этом».

Так вот он, ключ! Конечно же, эта вторая «анти-модель», что стучалась не **сюда, а обратно**, которая размышляла, боролась, не сдавалась, — была уже психической аномалией, отклонением от нормы, болезнью. И если ты пишешь протесты, утверждаешь, что надо печатать Солженицына, что в СССР нет свободы, если ты не идешь на выборы, клеишь листовки, требуешь в тюрьме Библию, — ты невменяем, невменяем, невменяем!

А твое поведение на следствии! Что? Отказ от участия? Ни одного заполненного протокола в деле?

Невменяем!

А поведение здесь! Ах, мы, врачи, — это те же тюремщики? И вы с нами говорить не желаете, отвергаете? И даже руки на груди скрещены?.. И ненависть в глазах?

— Виктор Александрович! Вот Вы так не хотите, боитесь признания Вас больным, а в то же время все делаете для того, чтобы Вас признали. Почему это? — допытывалась Любовь Иосифовна. И проф. Боброва о том же на комиссии спросила, т.е. и она не понимала мою «модель»?

Не понимала. Я еще раз говорю: не будь благоприятного случая (видно, «наверху» сказали: «Ладно. Оставьте его. Будем судить.»), не написал бы я этих строк, не сравнивал бы «психологические модели».

Так что же я хочу этим сказать? Что всему виной было непонимание, и правы по сути обе стороны, а врачи в таком случае, в особенности рядовые, — не виновны, и мы, как говорится, зря на них клепали? Ответствен ли солдат-исполнитель за преступные начертания полководца? И вообще, вина ли — инертность мышления, верность догматическим шаблонам, невозможность постичь до конца нашу психологию?

Нет, этого я не утверждаю. И не снимаю вины с врачей. Ведь это были не рядовые солдаты, и возраст здесь был не тот, и интеллект..

Врачи института имени Сербского, все эти ученые дамы и мужи, **ответственны за свои преступные деяния по заключению в психиатрические больницы заведомо здоровых людей** за их убеждения и образ мышления, не совпадающий с государственным стандартом. И все они ведали, что творят. И не в безвоздушном пространстве они жили — не могли не знать, что международные протесты против психиатрических репрессий в СССР сотрясают эфир. А раз знали это — должны были задуматься. Пусть легко укладывались наблюдаемые «симптомы» в шаблон Снежневского и Лунца, пусть смущало поведение этих непонятных, гордых, смелых узников, всегда лучше было — если ты действительно хочешь остаться «в чистоте и честности» — сказать «нет», «не болен», чем сказать «да». А уж в крайнем случае — уйти, устранившись, оставить этот позорный тюремный институт, разве мал в Москве выбор для медика?

Нет, не ушли они. Уже одним фактом работы в государственном репрессивном учреждении, в тюремном ведомстве, эти «сыны Гиппократы» пятнали клятву своего великого прародителя. Но они шли дальше — **на сознательное сотрудничество** с системой террора, срастались с ней, становились ее частью, щупальцами, которые уже сами хватали, держали, не пушали.

Нет, я не только не обеляю врачей института, — всем своим сочинением я призываю к суду над ними. И этот суд уже начался, хотя еще не все имена преступников названы и не все желающие могут войти в зал. Я верю, что когда-нибудь будет проведен и настоящий судебный процесс над этими людьми. Конечно, без отпущения насилием, без мести решеткой за решетку, но суд этот — суд совести и морали — должен прозвучать на весь мир.

Я верю в свободную, демократическую Россию, в которой будет возможен такой процесс.

Возвращение в бездну

Буквально через 10–15 минут после комиссии за мной пришли. Та же Анна Андреевна и Витина «мама» — сердобольная нянька Анна Федоровна.

— Ну все, голубчик. Поехали...

Глаза у обеих печальные.

Не знаю, что было написано в эту минуту у меня на лице. Но какой-то легкий стресс я, конечно, пережил. Так всегда бывает и не может не быть в стране Гулаг в ту единственную, всегда неожиданную минуту, когда надзиратель распаивает перед тобой дверь в неведомое, выкрикнув вместе с фамилией:

— Собирайся с вещами!

Я собрал свои «вещи», простился с Семеном Петровичем, с Федуловым.

— Не сердитесь на меня, Виктор Александрович, — сказал Полотенцев.
— Я желаю Вам легкой доли. Не унывайте. И ... не жальте этих обезьян!

И вот я снова на первом этаже, в каморке, заставленной мешками. Выдают мои вещи. Сапоги скомканы — слежались в мешке, покрыты налетом скользкой плесени. Телогрейку словно корова жевала. Все влажное, липкое... Меня сопровождает Анна Федоровна, помогает нести мешки. Вместе со мной одевается какой-то парень, все время балагурит с няньками и кастиляншей, сыплет шуточками. Нас обоих выводят во двор, сажают в «воронок». Прощаюсь с Анной Федоровной. Тот же низкорослый капитанчик с портфелем, что привозил меня из Бутырки, вскакивает в кабину.

Газ. Толчок. Мы с парнем хватаемся друг за друга. Поехали. Прощай, Институт дураков!

По пути знакомимся. Мой спутник жеманно, как деревенская барышня на танцах, протягивает ладонь и представляется:

— Человек Двадцать Первого Века.

Ах, оставьте! Не хватит ли с меня? Впрочем, я уже не удивляюсь. За короткое время я был знаком с будущим американским президентом... с египетским фараоном... почему бы не явиться еще одной именитости, на этот раз — хватай выше — из будущего!

«Воронок» скрипит резиной, лязгают запоры, раздвигается Стена. Я снова на бутырском дворе. Те же следы, те же таблички, те же процедуры... Шмон, здесь он доведен до совершенства. Отбирают сгущенное молоко и шоколад — хватит, сладкая жизнь кончилась. Снова ведут брить лобки... Потом в баню. Пока моемся, в соседнее отделение загоняют женщин. Стены тонкие, слышен визг, смех, плеск воды. Человек Двадцать Первого Века распластывается по стене:

— Девчонки! Поговорите со мной! Вы голенькие? Наташа — это кто? Какие у тебя грудочки? Хотела бы ты сейчас? Ой!..

И ко мне извинительно:

— Понимаешь, я ведь десять лет женщины не видел...

Под женский говор и визг, переговариваясь с невидимой Наташкой, сопя и корчась, он онанирует прямо под душем...

Да, это уже тюрьма...

Человек XXI века

После омовения и кормежки нас ведут через двор в уже знакомый «экспертизный» корпус. Выдают постели. Опять — вслед за корпусным — по

лестницам, проходам, коридорам. Ба! — знакомый «13-й блок», полуподвальный отсек на отшибе, где содержат смертников и «особых-особых». С обеих сторон — по десятку маленьких, «глухих» камер, на каждой из которых кроме обычного замка-задвижки еще висячий замок. Вертухай подводит к крайней угловой камерке слева. Господи, да ведь это та же, 64-я, с которой я и начал свое знакомство с Бутыркой. Ну конечно, вот и календарик на стене, и знакомая подпись «Шейх-антикоммунист». Значит, все это было, со мной? Может, я просто придремнул, как Рип-Ван-Винкль, под этим календариком?

Человек XXI века все говорит, говорит, везет мне на говорунов. Зовут его Женя И., 29 лет, из Новосибирска. Сидит уже, с перерывами, около 15 лет: за карман, драки и т.д. В общем, истый сын Гулага. Последнее дело путаное, тяжкое. Он сел в 1959 году за кражу, на пять лет. От тошной жизни в Пермских лагерях «закосил», и его признали. Еще там, на Урале. Направили в Смоленскую спецпсихбольницу, где он сидел несколько лет. Осталось, как он рассказывал, до конца срока 9 месяцев. И тут вдруг... сокамерник Жени, сидевший уже около двух десятков лет, соблазнил его на побег. Не представляю, как уж там они ушли (спецпсихбольница находится на территории Смоленского следственного изолятора), но ушли. В чем были: в халатах, тапочках больничных. На окраине Смоленска попали в какой-то коллективный сад, «грабанули» несколько дачек. Добыли одежду, переоделись. В одном из домиков взяли «на всякий случай» ножницы и кухонный нож. Ну а потом...

— Нам бы уйти, дуракам, подальше, — рассказывал Женя, — а тут, понимаешь, яблоки! Висят, красные, на ветках, такой урожай! Я ведь пять лет не видел, как яблоко растет! Обабдели мы... Стоим под деревом — и жрем, жрем...

Здесь, в саду, и настигла их погоня. В завязавшейся схватке убили они майора — заместителя начальника Смоленской тюрьмы по режиму... Как говорил мне Женя, бил только его напарник — двадцать ран ножницами. Он, Женя, будто бы лишь «за ноги держал»...

Обоих направили на экспертизу. О судьбе друга Женя ничего не знал, а сам он находился в институте Сербского ни много ни мало шесть месяцев, и все-таки был признан психически здоровым.

— Но я все равно буду бороться, Виктор! Как ты думаешь, — спрашивал, — не все еще потеряно?

Бороться ему стоило. Ведь... зверское убийство... вдвоем... сопряженное с побегом... Дело пахло вышкой.

А «косил» Женя мастерски. Человек XXI века, инопланетянин, залетевший случайно в наш неустроенный и непонятный мир. И он привез изобретение, он хочет осчастливить землян — научить, как в колбах, в пробир-

как выращивать из яиц... людей! Но коварные, подлые врачи смоленской больницы выкрали его секрет, а его объявили сумасшедшим, заключили в тюрьму...

О, стоило посмотреть, как он рассказывал об этом, — ударяя себя в грудь, рисуя какие-то схемы инкубатора для выведения гомункулюсов, пересыпая речь формулами, какими-то именами, всякой абракадаброй, — демонстрируя, так сказать, «разорванное сознание». Тут же срывался, плясал чечетку, опять рисовал реторты... Недаром продержали его врачи в институте шесть месяцев.

... Принесли ужин. С лязгом отскочила дверца «кормушки», и все та же тетка-раздатчица налила нам две миски фирменного бутырского блюда — баланды из рыбных костей с пшеном и солеными огурцами... Да, это уже реальность! Женя от еды отказался. А я с какой-то отчаянной силой погрузил ложку в баланду. Ее вкус окончательно пробудил меня, вернул из Мира Миражей на бренную нашу землю. И я энергично выхлебал всю миску до дна, как бы вливая в себя новую, живящую силу Гулага.

Засыпая на узкой, вмурованной в стену металлической койке, я долго видел качающийся надо мной силуэт Жени. Он читал стихи. Будто бы написанные специально для него каким-то инакомыслящим врачом, томящимся в Смоленской спецпсихбольнице.

Человек 21-го века поселился у нас за стеной,

Человек 21-го века, а сказали: «тяжелый больной».

Человек 21-го века, намечал ты иные пути,

В Атлантиду, а может, к ацтекам собирался корабль провести.

Человек 21-го века, все ли правильно ты рассчитал?

Или дрогнули стенки отсека, и не вынес нагрузки металл?

Человек 21-го века, ты узнать бы, конечно, не прочь:

Отчего на шестую часть света опустилась кровавая ночь?

Человек 21-го века, ты, наверно, лишь в книжках читал,

Как в России симбирский калека возводил для себя пьедестал.

Человек 21-го века, ты, наверное, в школе учил,

Как пилили стволы в лесосеках инженеры, артисты, врачи.

Человек 21-го века, знаю я — доказать ты хотел,

Что свобода нужна человеку, а покорность есть рабский удел.

Человек 21-го века, ты, должно быть, смертельно устал.

В 21-ом ты был человеком, а в 20-м — «закрученным» стал!

Стихи текут медленно, пьяно. Под этот речитатив я засыпаю. А правда, какой нынче век? где я? было ли со мной все то, что вспомнил сейчас, или

же только наснилось? С трудом отрываясь от одного сна, я падаю в другой, чтобы начисто забыть все недавнее.

Уверенность и покой входят в мою душу.

СТИХИ

В прогулочном дворике

Помнят ли там о печальном затворнике
Или пора забывать?

Вот я опять в этом каменном дворике,
Созданном, чтоб тосковать.

Скорчены в тесном и гулком скворечнике
Наша гордыня и боль.

Три с половиной шага в поперечнике,
Восемь с осьмушкой вдоль.

Только и видно охраннице заспанной,
Стражнице нашей судьбы —
Гордые руки заложены за спину,
Сбиты лихие чубы.

Будто бы в этом бесцельном кружении
Наш неизбывный оброк:
Восемь с осьмушкой в одном направлении,
Три с половиною — вбок.

Солнце блеснуло бы огненной лавою,
Ангел бы вдруг заглянул!
Даже и небо решеткою ржавою
Красный паук затянул!

Будто бы жалкие, вечные грешники,
Проклята наша юдоль —
Три с половиной шага в поперечнике,
Восемь с осьмушкой вдоль.

Только напрасно двуногие хищники
Пробуют нас на излом!
Есть у меня золотые наличники,
Лодка с волшебным веслом.

Только в мечтании, только в видении —
Веры зеленый росток.
Восемь с осьмушкой — в одном направлении,
Три с половиною — вбок.

Ветки черемухи, мокрые, росные,
Старый с кувшинками пруд..
Милые, верные, добрые, вздорные —
Губы, которые ждут!

Дудочка веры — с валторною вечности

Слиты в единый прибой.
 Три с половиной шага в поперечнике,
 Восемь с осьмушкой вдоль.
 И расступаются стены постылые,
 Рушится камень оград!
 Чье там лицо над вселенской пустынею?
 Чей там блистающий град?
 Только в висках — в забытии — в отдалении
 Шпот привязчивых строк:
 Восемь с осьмушкой — в одном направлении
 Три с половиною — вбок.
 Пусть же лютуют лихие опричники,
 Черная, злобная рать.
 Есть у меня золотые наличники,
 Этого им не понять.
 Есть у меня золотые наличники,
 Этого им не отнять!

сентябрь 1973

Владимирская тюрьма № 2

Майерлинг¹

От навязших словес, от истлевших идей,
 От обманных, безмускульных книг,
 Из жестокого царства усталых людей —
 Я хочу в голубой Майерлинг.
 Ты готова к побегу? Идем, я готов,
 Чтобы прямо из зала кино, —
 Пробежать, взявшись за руки, между рядов
 И нырнуть с головой в полотно!
 Услыхать за спиною испуганный крик,
 И свистки, и соленую брань,
 Но уйти от погони — насквозь, напрямик,
 В зазеркалье, в хрустальную грань.
 Там не знают жестоких и мстительных слов,
 Не штурмуют высот под «ура!».
 Там не верят в кумиры, но верят в любовь

¹Примечания к стихам см. на стр. 153

И головы горячие упали.

Мы маленькие, робкие цветы,
Мы маленькие призрачные звуки,
Мы маленькие слуги Красоты,
Хоть красота не лечит наши муки.

Хоть красота цветет и на крови,
Хоть красота любые крепит своды,
Хоть красота, как дети без любви —
Была не раз зачата без свободы.

О дай нам Бог
однажды не стерпеть,

О дай нам Бог
постичь азы науки,

О дай нам Бог
сплести в тугую плеть

Безвольные, утонченные руки!

август 1972

Передача

День сновидений и удачи,
День отворения разлук,
Благословенье передачи,
Прикосновенье милых рук.

Сквозь толщу стен твоей молитвы

И темноту моих ночей,

Сквозь все недавние ловитвы

И злую похоть палачей —

Сквозь их кирпичные затылки,

Сквозь груды грязи и дерьма —

Дошло ко мне —

письмо в бутылке,

Нет вдохновеннее письма.

Пусть перерыли, прошмонали,

Переломали сухари —

Ведь не сумели, не отняли.

Так говори же, говори!

Сквозь все заборы и решетки,

Все невода и жернова —

Дошли ко мне, теплы и кротки,
Твои негромкие слова.

Так говори, так прикасайся
Движеньем губ, тоской очей,
Родными пальцами домашних,
Еще не отнятых, вчерашних,
Не позабывших, не предавших
И не отрехшихся вещей!

20 июля 1973

Владимирская тюрьма

Дюны

Мы поедem с тобой,
Мы ведь снова свободны и юны,
На балтийский прибой,
На певучие, белые дюны.

Мы, как прежде, горды,
Мы вернулись к потерянной вере.
Дюны спят у воды,
Как усталые, сытые звери.

Погляди поскорей:
Вот медведь, вот жираф, вот волчица!
Хорошо средь зверей
Добротой их звериной лечиться.

Да прославится Бог,
Примиривший песка и акулу.
Шелковистый клубок —
Выбирай поцветистее шкуру.

Мы не тронем их сон,
Пробежим по околице пляжа.
Это наш бастион,
Это наша нагорная стража.

Как ты странно поёшь!
Это песня какого народа?
Будто нервная дрожь...
Это нас опьяняет свобода.

Темной песне твоей
Вторят сосен эоловы струны.

Четче контур ветвей —
 За спиной просыпаются дюны.
 Выгибая хребты,
 Разевая горячие пасти, —
 Звери строят ряды,
 Подчиняясь неведомой власти.
 Слышен крик лебедей,
 Он звучит в вышине троекратно.
 Мы ушли от людей
 И не ищем дороги обратно.
 Как завидна вина,
 Как легка и ничтожна утрата.
 Наше солнце — луна,
 Наше утро — горнило заката.
 Мы нашли свой ковчег
 И примкнули к прекрасному стану.
 Начинается бег,
 Магнетический бег к океану.

август 1973

Владимирская тюрьма № 2

Март

Какой он синий, этот март!
 Как он томит своей капелью.
 Уже проталины дымят,
 И воздух пахнет тихой прелью.
 Еще морозцы поутру,
 Но льется в ноздри запах винный,
 Уже любовную игру
 Завел народец воробьиный.
 Уже кружится голова,
 И сердце бьется в лад капли,
 Уже оттаяли слова
 И затомились, зазвенели.
 Как ярко блещут купола,
 Как сладко плавится сердечко.
 Уже ты варежку сняла
 И подышала на колечко.

Знать, до сих пор не победишь
 В себе той девочки-простушки:
 В кольцо, как в зеркальце, глядеть
 На озорные конопушки.

А по карнизам — птичий гвалт,
 А на березах — взбухли почки.
 Какой он синий, этот март...
 ...Через решетку одиночки.

16 марта 1974

Бутырская тюрьма

Морская прогулка

Какие у нас ветровые,
 Косматые, дикие кони!
 По сердцу — толчками — впервые,
 Надежда уйти от погони.
 От давней, навязчивой боли,
 От вкрадчивой, ласковой скуки,
 По ветру — две лилии воли —
 Твои обнаженные руки!
 Я знаю: мы близки, мы близки.
 В каскадах сверкающей пыли —
 Всё прочее напрочь забыто.
 Мы тени? Мы души? Мы блики?
 Сквозь толщу подводную чьи-то
 Бегущие, зыбкие лики.
 И соль оседает, как иней,
 На гривы, на губы, на сети.
 Мы двое — на первой, на синей,
 Еще не остывшей планете.
 Как чисто, как ладно, как гордо!
 По сердцу — толчками — свобода!
 И схвачено спазмою горло
 От запаха ветра и йода.
 А там, где сливаются тверди, —
 Мощеная солнцем дорога
 К чертогу ликующей смерти,
 Известной под именем Бога.

март 1974, институт им. Сербского

Отплытие

Дождик, дождик, перестань —
Мы поедem в Аристань!..

Вот опять у щеки твоя варежка влажная.
Ну зачем ты, любимая? Ну, перестань!
Что-то должен сказать... Что-то важное-важное
Пароход отплывает в страну Аристань.

Есть такая земля — непонятная, дальняя.
Помнишь детскую песенку? Вот, позвала!
Мне во сне рисовались ее очертания
И нездешних ее городов купола.

Разве можно уйти от судьбы и пророчества?
Вот и взял я дорожный, бывалый альбом,
Чтоб суровость ее и свое одиночество
Слить в один силуэт на листе голубом.

Видно, тот, кто глядит из глубин мироздания,
Тот, кто рядом всегда и всегда далеко, —
Пожелал, чтоб я взял свою долю страдания
Из безмерной и благостной ноши его.

Ветер бросил гудок, как прощальную жалобу,
Черномазый буксир запыхтел-застучал.
Отъезжающих просят подняться на палубу,
Провожающих просят покинуть причал.

Всё какие-то юноши с пыльными ранцами,
И оркестрик на пристани, как в старину...
Пароход до отказа набит новобранцами,
Я один — добровольцем на эту войну.

Дорогая, прости за тоску и метания.
Не кляни. Не грусти. Не остынь. Не устань.
И зачем же «прощай»?

Я кричу — до свидания!
Пароход отплывает в страну Аристань.

ноябрь 1973

Владимирская тюрьма № 2

3 января 1974 г.

Хоть полгода ломают, но пытки такой
 Не приснится и в смертном бреду!
 В коридоре свели на мгновенье с тобой,
 Чтобы тут же назад, в темноту.

Ни прижаться к щеке, ни коснуться волос —
 Ничего, ничего не смогли.

Только милые руки к губам я поднес,
 Как жандармы уже развели.

Растолкали по клеткам, захлопнули дверь...
 Все равно, как при вспышке грозы, —
 Я успел зарядиться для новых потерь
 От твоей неупавшей слезы.

От твоих горделивых, несдавшихся рук,
 От слепящего света в глазах.
 Был вокруг головы твоей радужный круг
 И улыбка на чистых губах.

3 января 1974

Владимирская тюрьма № 2

Тюрьма — Любовь — Россия

Татьяне Великановой ²

Листаю желтые страницы,
 Стучусь в забитое окно.
 Былых стихов о синей птице
 Я не пишу давным-давно.
 Слова надежды и бессилья!
 Три главных темы, три пути.
 Лишь три: Тюрьма, Любовь, Россия
 Живут теперь в моей груди.

Когда на улицах нарядных
 Я видел праздную толпу,
 Я вспоминал о тех несчастных,
 Что стынут в каменном гробу.

На их отечных, бледных лицах
 Видна отчаянья печать.
 Как о погосте иль больнице,

О ней стыдятся вспоминать.
 Хоть входят в схему мироздания
 Ее кривые этажи,
 Тюрьма — не просто дом страдания
 А состояние души.

Ведь не назначена отроду
 Она никем и никому,
 Но кто убил в себе свободу,
 Тот сам вложил кирпич в тюрьму.

И вот уж нет отвратней плена,
 И подступают времена:
 Зловещей тенью, как гангрена,
 На Мир надвинулась она.

На разобщенный и несильный,
 Не помнящий о судном дне.
 На мир, увязший, как в трясине,
 В неотклонимой болтовне.

И снова звук, глухой и странный,
 Туманный промельк подо льдом.
 Россия — идол деревянный
 С кровавым и несатым ртом.

С ним рядом — сломанные сани
 И обомшелый, давний сруб.
 И чей-то черный мерзлый труп
 С лицом, изгрызанным песцами.

Уж сколько лет тяжелых кряду
 Вершится сей круговорот!
 Тюрьма — Россия? Чей черед
 Решать зловещую шараду?

И свет лампы пригасает,
 Сусальный рушится кумир.
 Да, лишь одна Любовь спасает
 Усталый и
 бессильный мир.

.....

Тюрьма = Россия! Наш черед
 Решать теперь эту шараду.

1980

Он ушёл покурить за барак

Памяти Григория Подъяпольского³,
моего друга, духовного брата.

К пятилетней годовщине его смерти

Разбежалось по зоне их войско,
Бьют тревогу: не сходится счет.
«Подъяпольского нет! Подъяпольского!»
Вертухаи бегут взад-вперед.

Лезут всюду, шмонают, как водится,
Волокут караульных собак.

Ну чего вы, кашеево воинство?
Ну чего, ну чего беспокоиться?
Он ушел покурить за барак!

Только что ведь сидел за тетрадкой,
Вот вернется и сядет опять.
Вы же видите: книжка с закладкою.
И не надо напрасно искать.

Ну куда вы — такую оравую?
Все равно он уже за чертой!
И смеется над вашей облавою
И над вашею злобой пустой.

Хоть удвойте гон, хоть утроите,
Но закон Паркинсона суров.
Он уже на своем астероиде
Недоступен, как Бог Саваоф.

Так живем и пока не печалимся,
Не жалеем о прожитом дне.
Хоть редеют ряды, — не отчаемся —
Вдвое меньше, но крепче вдвойне.
Мы когда-нибудь все повстречаемся,
Соберемся на той стороне.

Постепенно, без виз и без допусков,
Все сойдемся в той жизни иной,
Где не будет допросов и обысков,
И филерской возни за спиной.

Ни солдат, ни этапов с овчарками,
Ни решеток в окне, ни штыков...
Соберемся однажды за чаркою,
Как всегда, напечем пирогов.

За столом мы не будем про тяжкое,
 И не станем считать их грехи.
 С мелодичной обычной протяжкой,
 Улыбаясь за чайною чашкою,
 Будет снова читать он стихи!

«Уже давно последний пролетарий,
 Забыв завод, играет на гитаре...
 Уже давно у Кащенко скончался
 Последний Маркса, кажется, читавший...
 Уже давно ни Штатов, ни Китая —
 Но до сих пор агентами считают...
 Но я терпеть не стану больше это,
 Я украду фотонную ракету...
 Быть может, где-то, на краю Галактики,
 В каком-нибудь созвездьи Птеродактиля
 Еще кружит забытый астероид,
 Где коммунизма все же не построят!»

Так и живем, и пока не печалимся,
 Хоть лютует их злобная рать,
 Мы — смеемся, мечтаем, не старимся,
 Ну, а если однажды опять
 Вновь собьются со счета и — с поиском
 Налетят, — отвечаем им так:
 «Ну чего вы, кашеево воинство?
 Ну чего, ну чего беспокоиться?
 Он ушел покурить за барак!»

1981, 8 марта

Баллада о третьем обыске⁴

«В начале было Слово,
 и Слово было у Бога,
 и Слово было Бог.»

(Иоанн 1:1)

Такого шмона, право,
 Еще не видел мир.
 Нагрянула орава
 Изысканных громил.
 Не прежних белоручек, —

Отменных мастеров.
 Промяли каждый рубчик,
 Вспороли каждый шов.
 Какой-то хитрый лазер
 Тарачил мутный глаз.
 А самый главный — слазил
 Руками в унитаз...

А я, как будто дачник,
 Смотрел на тот погром.
 Что ищут? Передатчик?
 Иль провод в Белый Дом?

Но было всё не ново,
 Я знал: и в этот раз,
 Они искали Слово,
 Которое — вне нас.

Которое взмывало
 Голубкою с руки,
 Которое взрывало
 Их троны и замки.

Грозило, как комета,
 Томило, как гроза,
 Наполнив душу светом
 И радугой глаза.

Пылало, как горнило,
 Облив зарей восток.
 Хранило и казнило,
 И называлось Бог.

ноябрь 1973

Владимирская тюрьма № 2

В одиночке

Тоска бутырской одиночки.
 Кому кричать, кого молить?
 В слепом оконце дня от ночи
 Не отличить, не отделить.

Напрасно слабыми руками,
 Безумец с тусклою свечой,
 Я тычусь в скользкий, липкий камень,

Пропахший кровью и мочой.
 По жилам — струйки вязкой лени,
 И шепот вкрадчивый в ушах,
 Но я не рухну на колени,
 Я одолею мерзкий страх.

Покуда в сердце, нарастая,
 Стучатся жарко, вновь и вновь,
 К державе — ненависть глухая,
 К отчизне — горькая любовь.

январь 1974

Бутырская тюрьма

Тюрьма

Говорили: Тюрьма — это стон озлобления!
 Утверждали: она — цитадель безнадежности!
 Но тюрьма — это символ любви и смирения,
 Это — высшая школа надежды и нежности.

Как теплы наши чувства и чисты желания,
 Как мы любим отсюда далекого ближнего,
 Как мы шепчем молитвы в часы покаяния
 И склоняем колени пред ликом Всевышнего.

И уже не страшит нас решетка железная.
 Ведь однажды ударит слепящая молния,
 И к чертогу Свободы, далекому, звездному
 Растворится дорога! Бескрайняя, горячая!

1980

Я ушел за китом голубым

Моей жене Нине

Кто-то будет судить и судачить злорадно,
 Кто-то станет болтать, что я призрак и дым.
 Ты ответишь им: нет, он вернется обратно,
 Он ушел за китом голубым.

Еще нет расслоения на тело и душу,
 Еще мир не расколот на тысячу стран,
 Есть на свете одна нераздельная суша

И один молодой океан.

Еще люди не знают проклятых вопросов,
Еще нету у них ни греха, ни суда,
Еще можно поэту наняться матросом
И однажды уплыть в Никуда.

Бороздить день и ночь зоревые просторы,
Слышать пенье сирен, открывать острова,
Видеть новых созвездий цветные узоры,
В сердце нежность копить, экономить слова.

Пусть несут паруса, как могучие кони,
И затянется путь наш на несколько лет.
Этот кит-великан не уйдет от погони,
Мы отыщем его фосфорический след.

Проживи свою жизнь без стенаний и боли,
Жди меня, — как всегда, вспоминай молодым.
Клетки нет. Смерти нет. Есть бескрайняя воля,
Я ушел за китом голубым.

Примечания к стихам

1. Майерлинг — местечко в альпийской части Нижней Австрии. В замке Майерлинг оборвалась жизнь принца Рудольфа, единственного сына императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа I. Наследник престола, женатый на бельгийской принцессе Стефании, застрелил свою возлюбленную, 18-летнюю баронессу Марию Вечеру, а потом застрелился сам. В предсмертных записках возлюбленные писали: «В смерти я буду счастливее, чем была в жизни» (Мария), «Я спокойно иду навстречу смерти, ибо лишь так могу сохранить свое имя» (Рудольф). Эта романтическая история легла в основу ряда литературных произведений, а также двух фильмов, снятых в 1936 (США) и 1968 годах (Великобритания, Франция).

Стихотворение В. Некипелова «Майерлинг» было популярным в литературном и песенном Самиздате. В песенном варианте (музыка Петра Старчика) есть еще одно, заключительное четверостишие:

Но когда мы покинем неправый наш свет,
пусть те скажут, кто знал наш тайник:
«Нет, они не исчезли, не умерли, нет —
наконец-то ушли в Майерлинг!»

2. Великанова Татьяна Михайловна (1932–2002) — один из лидеров Демократического движения. Ее личность и судьба оказали большое влияние на формирование духовных и нравственных принципов правозащитного сообщества. Входила в Инициативную группу по защите прав человека в СССР (ИГ), созданную в 1969 году. По существу, эта была первая правозащитная организация в нашей стране. Пытаясь уничтожить Демократическое движение, КГБ с 1972 г. начал использовать практику заложничества. Например,

членам ИГ предлагали поручиться за конкретного арестованного, и тогда его обещали освободить. Смысл этого предложения был следующим: и заключенный, и поручитель должны впредь молчать.

«Мы знаем, — писали в одном из заявлений члены ИГ, — что нельзя осудить никого, кто пошел бы на эту сделку, — такой шаг диктуется жалостью и любовью. Но пожертвовать своим духом — это самоубийство, чужим — убийство. Духовное... Тем, кто ставит нас в такое положение, мы можем сказать одно: **Нет. Ваши дела, ваша совесть, ваш грех — ваш ответ. Хотите использовать заложничество? Мы вам не помощники.**»

Собрав через своих агентов примерный список тех, кто участвовал в выпуске «Хроники текущих событий» (первые выпуски «Хроники» выходили без указания имен ее издателей и редакторов), КГБ пообещал: за каждый вышедший номер бюллетеня будут арестовывать несколько человек из этого списка. Более года (ноябрь 1972 — май 1974) «Хроника» не издавалась. Потом вышел ее очередной номер, ответственными за издание бюллетеня объявили себя три члена Инициативной группы. Среди тех, кто бросил вызов советскому режиму, была и Татьяна Великанова.

По-существу, Татьяна Михайловна была главным редактором «Хроники» с 1970 до ареста в ноябре 1979 года. Ее приговорили к 4 годам лагерей и 5 годам ссылки, освободили в 1987 г. После освобождения работала учительницей в начальных классах одной из московских школ.

3. Подъяпольский Григорий Сергеевич (1926–1976), геофизик, поэт, публицист, один из активных и авторитетных участников Демократического движения. Сыграл большую роль в становлении правозащитного сообщества. Входил в Инициативную группу по защите прав человека в СССР, в Комитет по правам человека, созданный в 1970 г. Многие из правозащитников (как и Виктор Некипелов) называли Григория Сергеевича своим духовным братом. «Он был удивительным человеком, — писал Андрей Дмитриевич Сахаров, — обладающим безупречной внутренней честностью, добротой, терпимостью к людям, к их разнообразным мнениям, позициям и ошибкам, и в то же время человеком научного, бескомпромиссного и творческого мышления, человеком, умеющим проявить твердость, мужество и принципиальность в самых трудных ситуациях.»

4. С июля 1972 по июль 1973 года у В. Некипелова было произведено шесть обысков дома и на работе.

Примечания написаны В.Ф.Абрамкиным

ОБ АВТОРЕ

Биография

Виктор Александрович Некипелов родился 29 сентября 1928 года в Китае, в г. Харбин. Там со времен строительства КВЖД жили родители его матери, Евгении Петровны Бугаевой. До рождения сына Евгения Петровна работала вместе с мужем Александром Павловичем Некипеловым, врачом-эпидемиологом, в Монголии, куда они приехали в 1921 году (в числе других медиков-добровольцев), откликнувшись на призыв советского правительства, для борьбы с холерой и чумой.

В 1937 году Евгения Петровна с двумя детьми (Виктором и Лидой, которой позже в детском доме изменили имя и фамилию) вернулась в СССР, в Улан-Удэ, где проживал ее муж. К тому времени у него была уже другая семья. Пришлось развестись. При разводе решением суда Виктор был передан на воспитание отцу, а девочка осталась с матерью. Евгения Петровна настойчиво пыталась вернуть сына. Видимо, эта настойчивость и привела к тому, что в 1939 году ее арестовали и она безымянно погибла в Гулаге. Девочку поместили в детский дом, и только спустя 30 лет, по счастливой случайности, она нашла брата.

В 11 лет Виктор оказался в новой семье отца, и именно с этого времени началось трудное познание жизни. В 14 лет, в тяжелые военные годы, одаренного мальчика определили в специальную артиллерийскую школу, эвакуированную в Омск из Москвы. После полутора лет упрямого сопротивления муштре он добился-таки отчисления из этой школы, переведенной к тому времени в Москву, и, вернувшись в Омск, пошел против воли отца в восьмой класс средней школы. Жить пришлось на чердаке у знакомых, приютивших мальчика. Однако в 1947 году после окончания десятилетки под влиянием обстоятельств он согласился на уговоры отца поступить в Омское военно-медицинское училище, которое с отличием окончил в 1950 году. Младший лейтенант медслужбы В.А.Некипелов был направлен фельдшером в стройбат в поселок Котлас Архангельской области.

В училище и в армии Виктор Некипелов пишет стихи, их печатают в армейской газете. Молодого поэта заметили, предложили вести в газете поэтический раздел. Виктор согласился и даже начал работать. Но тут спохватились, что на идеологическом фронте оказался беспартийный... Когда же попытались исправить эту оплошность, выяснилось, что отца Виктора в 1950 году исключали из партии¹. Виктора Некипелова обвинили в том, что он умышленно хотел скрыть этот факт из биографии отца, хотя он сам честно все рассказал перед партийным совещанием главному редактору газеты. Таким образом, официальная литературная работа оказалась закрытой для него, и Виктор снова вернулся в Котлас.

¹Примечания см. на стр. 169

Друзья советуют ему поступить в Литературный институт, но в те времена служившим в армии можно было поступать только в военные учебные заведения. В 1953 году Виктор подает документы в Ленинградскую военно-медицинскую академию. Сдав на «отлично» вступительные экзамены, он вернулся на службу и стал ждать вызова из Ленинграда. . . Вместо вызова пришел отказ по причине «отсутствия свободных мест». В 1954 году он снова посылает в Академию документы, которые вернулись на этот раз уже на имя начальника части. Красной чертой в биографической справке было подчеркнуто: Родился в Харбине.

В 1955 году в Харькове при Медицинском институте организуется военно-фармацевтический факультет, куда Виктор Некипелов посылает документы с заявлением о приеме. После сдачи экзаменов он был зачислен слушателем этого факультета. Помог случай: в приемной комиссии оказался старый его друг по Омскому военно-медицинскому училищу. Просматривая список документов, отложенных для возвращения, он увидел фамилию Некипелов. Причина опять была в месте рождения, снова красным обведено: Харбин. Будучи партийным секретарем на этом только что открывшемся факультете, он сказал, что давно знает Некипелова и ручается за него.

В 1957 году военный факультет попал под хрущевскую кампанию сокращения армии. Слушателям факультета было предложено либо перейти на гражданский факультет, уволившись из армии, либо вернуться к местам прежней службы. Виктор уволился из армии. На последнем курсе института он был принят на заочное отделение Московского литературного института им. Горького. В 1960 году Виктор с отличием закончил фармацевтический факультет Харьковского мединститута и получил направление в Закарпатское аптекоуправление, где работал заведующим Областной контрольно-аналитической лаборатории.

В 1965-70 гг. Некипелов жил в небольшом украинском городе Умань, работал на витаминном заводе, возобновил прерванную учебу в литинституте. В 1966 году в издательстве «Карпаты» вышел его первый и единственный при жизни сборник стихов «Между Марсом и Венерой».

Уманский период — это период становления Виктора Некипелова, поэта и гражданина. Здесь впервые узнал он жестокую правду об истинном лице советской системы, здесь сделал он свой выбор, здесь определился его жизненный путь. В стихах Виктора появился такой накал гражданственности, который был неприемлем для властей. Его переводы с украинского на русский язык И. Франко, В. Симоненко, В. Мицика, М. Холодного, М. Иогансена обеспокоили тех, кто был ответственен за чистоту и безопасность господствующей советско-партийной идеологии. Виктором Некипеловым заинтересовалось КГБ. У кого-то из знакомых на обыске изъяли самиздатскую работу Дзюбы², кого-то вызвали в КГБ и «попросили» принести приве-

зенную Некипеловым книгу Авторханова³, передавали шепотом о каких-то листовках, появившихся в городе, стихах... Не секретом была тесная дружба В. Некипелова с двумя «опальными» жительницами города — эсеркой Е.Л. Олицкой и бывшей канадской коммунисткой Н.В. Суровцевой, освобожденными в конце 50-х годов после 30-ти и 28-летнего заключения. Бывшие политкаторжанки находились под неусыпным надзором «зелененьких», как называла своих опекунов из КГБ Н.В. Суровцева. Потом произошел конфликт на заводе⁴, закончившийся увольнением «по сокращению штата», — очевидно было, что за всем этим стоит КГБ.

В 1971 году В. Некипелов с семьей перебрался в Московскую область, в надежде уйти от слежки Украинского КГБ и со страстным желанием общаться с близкими по духу друзьями. И, конечно, большую роль сыграла память о пропавшей без вести матери, детстве, которое прошло в Москве и Подмоскovie. Белев, Ногинск... он мечтал побывать в этих местах, не терял надежды отыскать хоть какие-то следы матери.

В 1972 г. руки КГБ достали все-таки Виктора Некипелова. Он уже работал заведующим Центральной районной аптеки в подмосковном городе Солнечногорск. Получил прописку, получил ордер на квартиру... и в одночасье всего лишился. Лишили прописки, выселили насильственно с нарядом милиции из только что полученной квартиры. Вручили постановление: в 48 часов покинуть Московскую область.

В стихах Виктора Некипелова нет политических мотивов, он вообще не был политиком, политическим борцом, его стихи — это сдавившие поэта тиски запретов. По его стихам можно писать биографию поэта, по появившимся позже публицистическим статьям — понять его нравственные ценности. Виктор органически не переносил вранья ни на бытовом уровне, ни на государственном. Он не переносил никакого насилия, был необыкновенно чувствителен к человеческому добру, к человеческой боли, всегда был готов помочь тем, кто оказался в беде: «Я буду всегда среди тех, кого мало, кого притесняют, неволят и бьют». И еще он был необыкновенно верен в дружбе, полагая, что положить жизнь «за други своя» — честь для нормального человека. Может быть поэтому его так и не смогли сломать в лагере.

В 1973 году В. А. Некипелов был арестован по ст. 190-1 УК РСФСР «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»⁵. Ему инкриминировали стихи и статью «Нас хотят судить — за что?»⁶, написанную им за несколько дней до ареста. Вопрос в заголовке статьи не для автора, а для возможных читателей. Для автора вопроса нет, потому как он хорошо знает, что судят — за инакомыслие, за право человека на собственное осмысливание жизни.

В 1975 году он вышел из уголовного лагеря, витиеваго-иезуитски названного исправительно-трудовым, вышел не на свободу, а все в тот же мир,

который он для себя определил словом гетто.

Через два года после освобождения из лагеря В. Некипелов принял трудное для себя решение о выезде из страны. В этом государстве нельзя, просто невозможно жить не по лжи, нельзя работать, писать, любить, растить детей... И даже бороться с ним невозможно, и не потому, что это грозит арестом, а потому, что и лагерная жизнь — это участие в жизни системы.

В 1977 г. В. Некипелов подал документы на выезд из страны и получил отказ с мотивировкой: «Ваш выезд противоречит государственным интересам». На отказ — реакция: «Письмо об отказе от советского гражданства». Письмо вместе с советским паспортом Виктор отправил в Президиум Верховного совета СССР.

Все точки расставлены, пути для отступления нет, он знает, что дни его сочтены, и спешит, спешит воспользоваться наконец-то обретенной свободой не для себя — для других. Он вступает в Московскую Хельсинкскую Группу⁷, активно помогает появившейся Группе по защите прав инвалидов⁸. Судьба людей, обратившихся к нему за помощью, становится делом его жизни.

1979 год — последний, тревожный, отчаянный и в то же время самый, может быть, наполненный жизнью год.

7 декабря 1979 года Виктор Некипелов был арестован по ст. 70 УК РСФСР. Ему было предъявлено обвинение в изготовлении клеветнических материалов, порочащих советский общественный и государственный строй, и распространении их с целью ослабления и свержения советской власти. Приговор — семь лет лагерей строгого режима и пять лет ссылки.

Виктором Некипеловым написано более 200 стихотворений. Участвуя в правозащитном движении, он написал около 50 публицистических статей и заявлений.

«Институт дураков» — это записки автора о двухмесячном его пребывании (январь-февраль 1974 г.) в институте имени Сербского, куда следствие направило его на психиатрическую экспертизу. Эти записки не претендуют на какое-то явление в литературе о Гулаге советского времени. Они — свидетельские показания человека, впервые попавшего в огромную, таинственную, страну за Стеною⁹. Автор читал и слышал о страшной жизни в стране Гулаг, о жутких законах и нравах уголовного мира, где-то в глубине себя боялся встречи с ним... Но оказалось, что там, за Стеной, живут тоже люди, с разными судьбами, как правило, трагическими. Там — сгусток человеческой боли, человеческих несчастий.

Книга была написана с желанием открыть палаты известного в стране психиатрического института, показать псевдонаучность этого «научного» учреждения, рассказать о его сотрудничестве с органами КГБ в борьбе с инакомыслием в стране.

Автор вошел в страну Гулаг, не зная, что у него большой светлый дар прикосновения к людям, талант дарить и принимать добро.

В этом рассказе о двух месяцах жизни в институте им. Сербского Виктор верен своей сути: он всегда на стороне слабых и униженных. Он не защищает преступников, он защищает людей, которых система, условия жизни сделали преступниками. Институт Сербского — это маленький островок огромного Института дураков, в котором все и везде, снизу доверху, врут. Это основной закон жизни в нем. Принятие или неприятие этого закона — показатель твоего психического здоровья, и от этого зависит, на чем тебе спать, что есть и что пить.

Виктор Некипелов был среди тех, кто не только не принял этого закона, но открыто выступал против него. И, возможно, его жизнь, активно сопротивляющаяся государственной лжи, не была напрасной, возможно, она помогла кому-то понять, что жизнь прекрасна ощущением свободы, счастьем отдавать тепло людям.

На следствии В. Некипелову говорили: «Мы вас выпустим, Виктор Александрович, за границу, но сначала мы вас уничтожим как личность. Мы вас выпустим, когда вы уже никому не будете нужны, никому». Они выполнили свое обещание.

После суда летом 1981 года Виктора этапировали в 36-й пермский лагерь строгого режима, который имел самую дурную славу из трех пермских политических лагерей. В 1981 году Виктор Некипелов получил и единственное за все семь лет «длительное» (сутки!) свидание с женой.

В 1982 году по решению Чусовского народного суда он был переведен на тюремный режим¹⁰. «Некипелов упорно не желает встать на путь исправления, отрицательно влияет на других заключенных», говорилось в определении суда. Осенью того же года его этапировали в зловещую Чистопольскую тюрьму.

Неизвестно, когда началась страшная болезнь. Виктор, как медик, был уверен, что это рак. В 1983 году работник КГБ, перед двухчасовым свиданием с семьей, уговаривал меня убедить мужа раскаяться, выступить с покаянием по радио и телевидению: «...Состояние здоровья Виктора Александровича плохое. Вы же хотите, чтобы он побыл с детьми, чтобы он умер дома...»

И после этого — еще два года Чистопольской тюрьмы, и еще год 36-го пермского лагеря. Больше половины оставшегося лагерного года его держали в ПКТ и ШИЗО¹¹, лишили личного, общего свиданий, ларька, бандероли, посылки — всего. Как будто хотели, чтоб не выдержал — или сдался, или умер. Но Виктор Некипелов не сдался, выжил, выстоял, и его, обреченно больного, этапом привезли в Красноярский край, в самую зиму, в 50-градусный мороз, в ссылку, с припиской в личном деле — онкофобия. Это

закрывало Виктору все возможности для обследования и лечения от рака. Смертельный диагноз, который поставил себе Виктор, как подтвердилось позже, был точен.

Когда в 1987 г. В. Некипелова освободили, состояние его здоровья было уже таким, что он не смог включиться в жизнь, но еще полгода ему, уже тяжело больному, не давали возможности выехать из страны.

Умер Виктор Некипелов 1 июля 1989 г. дома, в Париже. Умер от тяжелой формы рака, который диагностировали слишком поздно. Он умирал спокойно, как будто действительно уходил в свой «Майерлинг»¹², где только любовь, только добро.

*Н.М. Комарова-Некипелова
Париж*

«Этого им не отнять. . . » (вместо послесловия)

Пусть же лютуют лихие опричники,
Черная, злобная рать. . .
Есть у меня золотые наличники,
Этого им не отнять!

В. Некипелов.

«В прогулочном дворике».

Летом 1978 года мне посчастливилось вместе с Виктором Некипеловым работать над подборкой его стихов для самиздатовского журнала «Поиски»¹³. Подборка вышла в 4-м номере журнала в декабре того же 1978 г. и, как я помню, имела большой успех у читателей «Поисков». Виктору Александровичу она тоже понравилась, он считал композицию удачной¹⁴.

Казалось бы, правильней было бы и для этого сборника взять за основу именно ту подборку, добавив в нее что-то из написанного поэтом позже. Но, перечитав тексты Виктора Некипелова, оказавшиеся у меня под рукой, материалы из «Хроники текущих событий»¹⁵ и других источников, я понял, что принцип формирования подборки текстов сейчас должен быть совсем иным: за 11 лет, отпущенных Виктору Некипелову с 1978 года, в его (да и в моей) жизни произошли события, которые во многом изменили смысл многих текстов, «судеб, событий». Из разворота-развала времени, без малого в три десятилетия, многое стало видеться совсем иначе.

Скажем прямо, в отличие от времени «Поисков», нынешнему российскому читателю имя Виктора Некипелова мало что скажет. С одной стороны, это страшновато: в случае личности такого масштаба речь идет о потере исторической памяти, девальвации нашей «общей славы в прошлом», которая

¹³Примечания см. на стр. 169

служит источником «общего действия в настоящем», условием формирования нации («формула Ренана»¹⁶).

С другой стороны, возможно, время для «возвращения» Виктора Некипелова еще и не пришло. По истории формирования преданий, составляющих нашу «общую славу», мы знаем, что «рукописи не горят», а «истина не затмится». . . . Есть тексты и судьбы, которые должны пройти сквозь мелкое сито времени («беспамятства»), предание — это «золото», в котором не должно быть случайных песчинок. Только затем рукописи обретают свою истинную ценность, а судьбы людей, выпавших на время из памяти, становятся образцами деятельности, образцами жизни для народов и сообществ, сотен и тысяч забываемых, припоминаемых, снова забываемых подвижников и героев.

Андрей Дмитриевич Сахаров верил, что в народе всегда сохраняются нравственные силы. «В особенности, — говорил он, — я верю в то, что молодежь, которая в каждом поколении начинает жить как бы заново, способна занять высокую нравственную позицию. Речь идёт не столько о возрождении, столько о том, что должна получить развитие находящаяся в каждом поколении и способная вновь и вновь разрастаться нравственная сила».

Всему свое время. Придет время и для возвращения «высоких нравственных позиций», возвращения текстов, представленных в этой книге.

Даже по тем варварским временам, когда были написаны собранные здесь тексты, все, что делала советская карательная машина с Виктором Некипеловым, казалось несуразностью и садизмом. Первый приговор был вынесен Некипелову в мае 1974 г. Два года лагерей за восемь стихотворений и другие тексты, отпечатанные на машинке в одном, двух экземплярах, написанные от руки. Из стихотворений, «содержащих клевету на демократические основы Советского государства и советскую действительность» (это цитата из приговора Владимирского областного суда), несколько раз упоминалось «Таити».

Людам, не жившим в то время или подзабывшим его, все это вообще покажется непонятным. Поэтому приведу стихотворение целиком, от первой до последней строчки.

ТАИТИ

Какая красная стена
Передо мною.
Какая странная страна
За той стеною.

Я обыскал весь шар земной,

А это — рядом.
 Между пельменной и пивной
 И летним садом!

О чистота, о правота,
 На чем стоите?
 Моя печальная мечта —
 Мое Таити.

Четыре вышки по углам,
 Циклоп у входа.
 Но только там. О, только там
 Моя свобода!

Примерно такого же рода «клевета» еще в шести лирических стихах. В восьмом («Не совсем каноническая ода») человеку с полным отсутствием чувства юмора могли пригрезниться какие-то «измышления». Это был памфлет на «историческое событие» — награждение Брежнева Гусаком (а Гусака Брежневым) орденами¹⁷.

Никто на суде не выяснял, в чем клевета, тогда это было не принято: раз КГБ счел какой-то текст «заведомо ложным клеветническим измышлением, порочащим советский общественный и государственный строй», значит и доказывать ничего не надо. Говорят, прокурорам, судьям и «кивалам» (народным заседателям) тогда и тексты из судебных дел по «политическим статьям» читать не давали. Главное, что должны были делать следствие и суд, — подтвердить хотя бы видимость доказательств распространения (или цели распространения) «измышлений», вредность которых определялась идеологическими органами и КГБ. В обвинительном заключении по первому делу Виктора Некипелова доказательствами распространения «вредных и аналитических произведений, являющихся пасквилом на советскую действительность» (это опять цитата из приговора), стали стихи, посланные Виктором Некипеловым по почте в Барнаул своему коллеге (по литературной деятельности) А.П. Афанасьеву, и показания жены поэта Нины Михайловны Комаровой, ответившей «да» на вопрос следователя: «Читали ли Вы стихи своего мужа?» Жена никакой подлости в вопросе следователя поначалу не усмотрела. Из приговора, правда, это «да» убрали. То ли потому, что Н.М. Некипелова-Комарова отказалась давать какие-либо показания в ходе судебного процесса, то ли других «доказательств» хватало для «легкой» статьи и срока в два года.

Во втором приговоре (к семи годам лагеря строгого режима и пяти годам ссылки), вынесенном в июне 1980 года тем же Владимирским областным судом), доказательств распространения было больше. В частности, умысел распространения подтверждался, по мнению суда, показаниями продавщиц

магазина «Культтовары», сообщивших, что Некипелов неоднократно пытался купить писчую бумагу. Простодушные продавщицы при этом добавляли, что по указанию заведующей книготоргом г. Камешково, где жил Некипелов, бумага ему не продавалась. Об атмосфере, которую создали Виктору Александровичу в провинциальном Камешково (как и о нравах того времени), можно судить по показаниям других свидетелей. Так, заместитель Некипелова (по работе в аптеке) Монахов рассказал, к примеру, что однажды он обнаружил в ящике стола Некипелова «Открытое письмо Федора Раскольникова Сталину»¹⁸ и сразу же позвонил в горсовет. Такие, значит, были времена. Не «в падлу», как говорят арестанты, было рыться в сумках и столах своих сослуживцев, сообщать, на всякий случай, обо всем подозрительном «в органы».

Но в главном преследователи поэта, возможно, и не ошибались: его стихи могли стать опаснее текущей самиздатовской публицистики и прямых разоблачений. Режим, задуманный на века, держался не столько на карательных органах, сколько на системе массового доносительства¹⁹, на постоянной демонстрации «всеобщего одобрения» (или «осуждения»), на лжи и подлости в душах людей. И реально разрушить эти устои власти могло лишь точное слово, правда, сказанная от сердца, тексты, написанные кровью, оплаченные действием и судьбой.

Про первый приговор Виктору Некипелову я узнал из «Хроники текущих событий» (№ 32). Этот номер «Хроники» был перегружен информацией о событиях, которые происходили в Советском Союзе с начала 1974 г. и привлекли большое внимание не только западной прессы, просочившись на страницы советских «правд»: высылка Александра Солженицына из СССР, исключение из Союза писателей Лидии Чуковской и Владимира Войновича, массовые судебные и внесудебные преследования людей, заподозренных властями в нелояльности к режиму. . .

По тому времени (1973 г.) возбуждение уголовного дела за стихи и статьи, нигде (ни в Самиздате, ни на Западе — в «тамиздате») не публиковавшиеся²⁰, становилось относительной редкостью. Но тогда уровень жестокости в каждом конкретном случае зависел от возможной реакции Запада (политиков и журналистов) и места, где жил человек. В какой-то степени власти старались не поднимать уровень скандальности выше определенной планки, поэтому к людям, успевшим стать известными, чаще применяли внесудебные санкции (увольнение с работы, запрет на публикации, выезд за границу, «общественная» проработка на собрании, беседа в КГБ и т.п.), принудительную эмиграцию, высылку на Запад или лишение гражданства. Кроме того, в некоторых республиках (на Украине, в Бело-

руссии, Средней Азии) и в российской провинции «правосудие» (точнее, местное партийное руководство и КГБ) проявляло по отношению к инакомыслящим и простым хранителям-распространителям Самиздата большую жестокость, чем в Москве.

Но были и другие критерии при выборе способа воздействия на человека. Как мне представляется, с большей жестокостью относились к людям, которых трудно было сломать, к тем, кто, как пружина, появившись лишь малейшая возможность, распрямлялся, с еще большей стойкостью, отчаянно сопротивлялся злу и неправде. Таким человеком-пружиной был и Виктор Некипелов.

После первого срока власти перепробовали самые разные подлые способы давления на Виктора Александровича, включая в сферу своего воздействия детей, близких и знакомых поэта, ему устроили атмосферу непрерывной травли на работе и в жизни. Подробности можно узнать из выпусков «Хроники» (1975-1979 гг.), из материалов второго дела²¹, а также из документа потрясающей силы и пронзительности — «Книги любви и гнева». Она написана Н.М. Комаровой после смерти В. А. Некипелова и издана во Франции.

Ничего не удалось добиться преследователям и мучителям Виктора Некипелова, именно в период между лагерными сроками («чуть отпустили» — так сам Виктор говорил) он сделал невероятно много: в литературе, в деле защиты гонимых и обездоленных. Документальная повесть «Институт дураков» сыграла огромную роль в общественном движении против психиатрических репрессий, которые были гораздо страшнее и разрушительней для человека, оказавшегося в руках тюремщиков в «белых халатах». О подвижнической и литературной деятельности Виктора Некипелова подробно рассказывается в его биографии, написанной Н.М. Комаровой-Некипеловой (см. выше). Здесь я только скажу, что Виктор Александрович был одним из людей, которых можно назвать душой и совестью Демократического движения 70-х годов, его стихи и песни²² были «глотком свободы» для тех, кто составлял сообщество «правдивых душ» (Борис Чичибабин²³). Поддержкой и спасением стали стихи из тюремного цикла для тех, кому выпала арестантская судьба. Особенно часто в тюрьме припоминались строчки из «Прогулочного двора» и «Передачи». Это пронзительное, поразительно точное описание состояний узника, не сдавшегося, не потерявшего себя в мире затворности и жестокости.

И еще одно: сейчас, перебирая разнородные тексты того времени, я вдруг понял, что точнее всего дух того времени передают стихи Виктора Некипелова, в них легче дышится и само время кажется переносимей, чем тогда.

Свой второй срок Виктор Некипелов назвал пожизненным. Реальное на-

казание оказалось страшнее и изощреннее. По свидетельству Н.М. Комаровой, следователь по второму делу говорил Виктору Александровичу: «Мы вас выпустим на Запад, но сначала мы сделаем из вас ничто». Угроза была выполнена. С самого начала второго срока Виктора Некипелова садистски последовательно, медленно, но верно, уничтожали. Довольно убедительной представляется мне версия²⁴ о специальных мерах (включая отравление), которые применялись к Виктору Некипелову в течение всего срока и, особенно, в 1985–1986 гг.

Здесь будет уместным напомнить, что с приходом к власти Ю. В. Андропова (ноябрь 1982 г.) произошло качественное изменение политики в отношении Демократического движения СССР и его участников. По существу, власти приступили к операции по окончательному разгрому оставшихся после эпохи Брежнева «островков» сопротивления, уничтожению (моральному или физическому) носителей инакомыслия. В 1982–1983 гг. были разгромлены Московская Хельсинкская Группа, другие правозащитные или независимые общественные организации (национальные, религиозные, борющиеся за социальные права и т.п.). В начале 1983 г. вышел в свет последний номер «Хроники текущих событий», затем были прикрыты практически все самиздатские периодические издания. В апреле 1983 г. был арестован распорядитель Фонда помощи политзаключенным Сергей Ходорович²⁵. На обысках по политическим статьям в качестве «антисоветских» или «клеветнических» материалов стали изымать деньги, нижнее белье, вещи или продукты, если возникало подозрение, что все это предназначено для отправки политзаключенным. Из тех, кто имел (по сведениям КГБ) хоть какое-то отношение к инакомыслящим, на воле оставляли (да и то не всегда) людей почтенного возраста, тяжело больных, женщин с малыми детьми или тех, кто соглашался не проявлять свое инакомыслие публично.

К тем же из сидевших, у кого заканчивался срок, вместо политических статей (как раньше) применяли статью 188-3²⁶, которая была введена в УК РСФСР в сентябре 1983 г. «Андроповская статья» (так ее называли арестанты и тюремщики) давала возможность делать любой один раз назначенный срок пожизненным. Статью 188-3 начали охотно применять к политзаключенным. В отношении узников совести стали использовать все более жестокие и изощренные способы подавления, причем своего пика эта практика достигла в начальный период (1985–1986 гг.) правления М. Горбачева. Ощущение было такое, что одним из условий начала перемен власти считают полную ликвидацию всех, кто был способен на собственное, независимое от «перестройщиков», слово и действие.

Уверен, что только бескомпромиссность и стойкость таких узников совести, как Анатолий Марченко²⁷, Виктор Некипелов, Татьяна Великанова, Сергей Ходорович и других, не позволили этим планам реализоваться в пол-

ной мере. Именно гибель Анатолия Марченко в Чистопольской тюрьме (декабрь 1986 г.), реакция на нее западных политиков, мирового общественного мнения, привели к некоторому вразумлению «перестройщиков». Горбачев, до той поры упорно отрицавший существование в СССР политзаключенных, называя их уголовниками²⁸, почувствовал, что имидж приятного для Запада политика-реформатора может вот-вот рухнуть. Срочно был возвращен из ссылки академик Андрей Сахаров. Вскоре началось постепенное освобождение политзаключенных, сопровождавшееся издевательскими требованиями к ним²⁹.

В уже упоминавшемся очерке М.Г. Подъяпольская пишет:

«Виктор вышел на волю в результате общей акции-кампании выдворения политэков из мест заключения, в которой участвовали и КГБ, и прокуратура, и родственники, и друзья и в которой самой инертной и здоровой силой были сами политзаключенные, которые требовали реабилитации и восстановления справедливости и не верили в ветры перестройки...»

Я и сейчас не верю в мифы о «перестройке», переменах, произошедших как бы по милости советских властителей. Не верили в эти мифы и узники совести, возможно, они понимали: последнее, что они могут сделать... Здесь неуместен будет пафос и красивые слова, вроде «для будущего этой страны» и т.п. Просто они знали: надо стоять насмерть за совесть и честь, держаться до последнего вздоха.

Известно, что на протяжении всего срока Виктор Некипелов наотрез отказывался от любых переговоров с сотрудниками КГБ о возможном освобождении (в обмен на раскаяние, на отказ от дальнейшей «политической деятельности»³⁰ и т.п.). Насколько я могу судить по документам и свидетельствам того времени, от последнего их предложения Виктор Некипелов отказался, зная о смертельной болезни, понимая, что и дальше его будут мучить, что по концу срока ему не выйти. Они сделали все, что и обещали, для разрушения его как личности, но и в таком состоянии у человека остается последний источник сопротивления — сила духа.

Предложили же Виктору Александровичу подписать, казалось бы, вовсе безобидную бумагу, не требующую уже никаких отказов от «деятельности» или покаяний: ходатайство о помиловании «в связи с тяжелым состоянием здоровья».

Вместо последнего слова на первом судебном процессе (в мае 1974 г.) Виктор Некипелов прочитал стихотворение, посвященное дочери Михайлине, которой исполнилось тогда два года, закончив его следующими словами:

«Я встречу приговор спокойно, потому что уверен в своей полной невиновности. Верю, что рано или поздно — именем России, совестью России

(свободной России) — буду реабилитирован...»

Так получается, что пока время «свободной России», о котором говорил Виктор Некипелов, не пришло. Он, как и многие другие участники Демократического движения, изгнанные из страны, погибшие в тюрьме, «за совесть и честь, отсидевшие сроки», остается не реабилитированным³¹...

«Рано или поздно» — придет.

Мне удалось увидеться с Виктором Александровичем за год до его смерти. По случаю начавшейся «перестройки», летом 1988 г. меня выпустили во Францию из глухой деревушки в Тверской области, где я жил после лагеря под надзором. Виктор Александрович никого из старых друзей не узнавал, не помнил и своих текстов. Мне все это, как человеку, прошедшему в 1985 г. через «пресс», организованный политическим заключенным, было понятней, чем вольным друзьям и близким Виктора: я вышел точно в том же состоянии. Только года через два почти прекратились провалы в беспамятство, и я смог заставить себя, без внутреннего сопротивления, подписывать бумаги и тексты своим именем. Поэтому верилось, что Виктор Александрович вернется. Может быть, не так скоро: все-таки он был старше на двадцать лет и прошел, в отличие от меня, самый страшный для узников совести год — 1986-й. Однако судьба ли, смертельная болезнь, — времени для возвращения ему не оставили.

И все же Виктор Некипелов был счастливым человеком. Счастливым и потому, что оказался достойным испытаний, выпавших на его долю, и потому, что умер не в тюрьме. Судьба подарила ему любовь, которую заслуживает Мастер. Подарила Маргариту, сделавшую все, чтобы его «рукописи не сгорели». Любовь, на самом деле, была главным источником спасительного вдохновения в жизни людей, оказавшихся в круге «правдивых душ». Другое дело, что за этот порыв, за эту любовь было заплачено полной мерой.

Таковыми соображениями я и руководствовался, когда пытался представить в стихотворениях, подобранных для книги, творчество и судьбу подвижника, поэта, Мастера — Виктора Некипелова. . .

*Валерий Абрамкин,
член редколлегии журнала «Поиски»,
бывший узник совести.*

Примечания

1. Отец Виктора (Некипелов А. П.) в 1922 году был лишен гражданства за то, что не вернулся в СССР через год после окончания работы, а остался в Монголии. Позже, женившись на Бугаевой Е. П., он восстановил советское гражданство, вернулся в СССР, а в 1942 г. даже вступил в партию.

2. Дзюба Иван Михайлович (1931 г.р.). В 60-е — 70-е годы — видный деятель украинского национального движения. В 1965 г. была издана ограниченным тиражом (для партийных функционеров Украины) его книга «Интернаціоналізм чи русифікація». Впоследствии тираж был изъят, и книга попала в Самиздат. В 1972 г. Дзюба был арестован и приговорен за «Антисоветскую агитацию и пропаганду» к 5 годам лагерей и 5 годам ссылки. После покаянной статьи в официальной советской прессе был освобожден от дальнейшего наказания. В настоящее время Дзюба — академик-секретарь отделения литературы, языка и искусствоведения Национальной академии наук Украины.

3. Имеется в виду книга Авторханова «Технология власти», изданная в 1959 г. на Западе. Книга имела широкое хождение в Самиздате. Авторханов Абдурахман Генезович (1908-1997) — историк, политолог, писатель, автор книг «Загадка смерти Сталина» (1976), «От Андропова к Горбачеву» (1986), «Империя Кремля. Советский тип колониализма» (1986) и других. Закончил Институт красной профессуры, в 1937 г. был арестован как «враг народа». Освободился в 1942. После возвращения в Чечню попал в плен, был депортирован в Германию, где и остался после окончания войны. Преподавал историю России, СССР, КПСС в западногерманских университетах. В 1991 г. стал почетным гражданином Чечено-Ингушетии.

4. Виктор вел борьбу за соблюдение правил техники безопасности, был выбран рабочими в профсоюзный комитет. Уволили его с завода за систематические конфликты с начальством. Приказ об увольнении последовал после выговора за «неучастие в первомайской демонстрации и общественной жизни». После публикации письма рабочих завода в областной газете Некипелова в должности восстановили. А потом снова уволили «по сокращению штатов».

5. Одна из двух статей УК, которые чаще всего использовали для тех, кто участвовал в Демократическом движении, кого подозревали в изготовлении и распространении Самиздата. Предусматривала наказание до 3 лет лишения свободы. Более тяжелой считалась статья 70 УК РСФСР («Антисоветская агитация и пропаганда»), по которой могли назначить до 7 лет лишения свободы со ссылкой до 5 лет (при повторном приговоре по этой же статье можно было получить и 10 лет). Состав преступления по этим статьям был практически одинаковым, в 70-й добавлялась лишь «цель подрыва или ослабления советской власти». На практике за одни и те же действия следствие (а потом и суд) могло применять и ту, и другую статью — все определялось заказом КГБ или высшего партийного руководства. Осужденных по ст. 190-1 отправляли в обычные лагеря, по ст. 70-й — в т.н. политзоны, где отбывали наказание осужденные по статьям 64-73 («Особо опасные государственные преступления»).

6. В статье рассказывается о следствии по т.н. «делу Сергея Мюге» (ХТС 22, 25-27), связанному с распространением самиздатовских материалов. В. Некипелов проходил одним из четырех подозреваемых по этому делу. Преследование за чтение и хранение литературы Некипелов называет «охотой за ведьмами», а ст.ст. 70 и 190-1 УК РСФСР — антиконституционными. «Когда я буду арестован, — пишет Некипелов, — прошу моих родных и друзей твердо знать, что Я НЕ СТАНУ ДАВАТЬ СЛЕДСТВИЮ И СУДУ НИКАКИХ ПОКАЗАНИЙ. . . Верю, что Россия очистится, прозреет, переживет страх и навсегда отымет у правителей своих вековую привычку рыться в книжках и умах!»

7. Московская Хельсинкская Группа — «Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР». Старейшая из ныне действующих в России

правозащитных организаций.

В августе 1975 года СССР подписал текст Заключительного Акта Хельсинкских соглашений (он был даже опубликован в советских газетах). Главная причина: в Заключительном Акте содержались положения о признании послевоенных границ в Европе. Статьи, в которых провозглашалась обязанность государств-участников Хельсинкского соглашения соблюдать права человека в своей стране, советское руководство и не собиралось выполнять. Оно привыкло к тому, что никто из советских граждан не смеет всерьез требовать соблюдения прав человека, декларируемых международными договорами. Но эти расчеты не оправдались. В мае 1976 года на пресс-конференции, созванной академиком Андреем Сахаровым, профессор Юрий Орлов объявил о создании Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Позже группу стали называть Московской Хельсинкской Группой (МХГ). Появление МХГ, ее поддержка в СССР и на Западе ввели правозащитное движение в новый период, который можно назвать «хельсинкским». Это был взлет, достигнутый 10-летней жертвенной работой правозащитников, не прекращавшейся и в самое тяжелое время, когда их отправляли в лагеря за любую попытку добиться соблюдения норм действующего советского законодательства.

За первые три года своего существования МХГ подготовила несколько десятков документов о нарушении прав человека в СССР, не только политических прав, но и прав социальных: инвалидов, бездомных, заключенных и других, как сейчас принято говорить, социально-незащищенных групп населения. Советские власти поневоле вынуждены были реагировать на документы МХГ: права тысяч людей, упомянутых в этих документах, были восстановлены. Эти победы оплачивались, если называть вещи своими именами, кровью. Почти все члены МХГ были арестованы, высланы (или принуждены уехать) из СССР. В сентябре 1982 г., под угрозой ареста старшей участницы МХГ Софьи Каллистратовой, двое последних оставшихся на свободе членов Группы (Елена Боннэр и Наум Мейман) заявили о прекращении деятельности МХГ.

Основатель МХГ, Юрий Федорович Орлов (физик, доктор наук, член-корреспондент Академии Наук Армянской ССР), был арестован через год после создания МХГ и приговорен к семи годам лагеря строгого режима и пяти годам ссылки. В октябре 1986 г. был освобожден из ссылки (в обмен на советского шпиона в США) и, вопреки его воле, выслан из страны.

Виктор Некипелов вступил в МХГ в октябре 1977 г., после арестов Юрия Орлова, членов МХГ Александра Гинзбурга и Анатолия Щаранского. Виктор понимал, на что он идет. По свидетельству людей, знавших его, именно эти аресты и повлияли на решение о вступлении в МХГ: он должен был заменить арестованных.

В июле 1989 г. МХГ возобновила свою деятельность. Об этом объявили известные правозащитники Лариса Богораз, Сергей Ковалев, Вячеслав Бахмин и другие. К ним присоединились Юрий Орлов, Людмила Алексеева и Кронид Любарский. Председателем МХГ стала Лариса Богораз, в 1994 г. ее сменил Кронид Любарский. В 1996 г. МХГ возглавила Людмила Алексеева, вернувшаяся из эмиграции в 1993 г. Цель МХГ — содействие соблюдению прав человека и построению демократии в России. Сайт МХГ — www.mhg.ru

8. «Инициативная группа защиты прав инвалидов в Советском Союзе». Основана в 1978 г. Юрием Киселевым, который в течение сорока лет (с 1956 г.) отстаивал права инвалидов, их честь и достоинство. Группа добивалась законодательного закрепления прав инвалидов, сообщала о нарушениях Хельсинкского договора международному сообществу, выпускала бюллетень. В 2004 г. в Москве была открыта мемориальная доска Юрию Киселеву. Памятный знак установлен на доме № 4 по Лучникову переулку, где расположен Российский Исследовательский Центр по правам человека. Здесь с 1992 г. до своей кончины — в 1995 г. — работал Юрий Иванович Киселев.

9. Незадолго до первого ареста в 1973 г. Виктор Некипелов написал стихотворение, которое называлось «Стена».

10. Тюремный режим, по сравнению с режимом в лагере, был жестче: пониженная норма питания (в первые полгода, по существу, пытка голодом), отсутствие права на личные свидания и посылки, ограничения в коротких (двухчасовых) свиданиях (через стеклянную перегородку по телефону), в письмах (одно письмо в месяц) и т.п. Кроме того, в Чистопольской тюрьме, где было организовано отделение «для политических» оперативной службой тюрьмы использовались специальные меры воздействия.

11. ПКТ и ШИЗО — внутренняя тюрьма в лагере (тогда ИТК — исправительно-трудовое учреждение). ПКТ — помещение камерного типа. ШИЗО — штрафной изолятор. В те годы для ПКТ и ШИЗО были установлены пониженные нормы питания. По заключению независимых экспертов, арестанты ШИЗО подвергались пытке голодом, их кормили через день. В день «пролётный» давали только пайку хлеба весом в 450 г. В день «лётный» к пайке хлеба добавляли: в завтрак — «чай» и кашу, в обед — баланду, на ужин — рыбу (обычно 5-6 килек или кусок ржавой селедки). На все это по норме «9-б» должны были расходовать: 10 г муки, 50 г крупы, 250 г картофеля, 200 г овощей, 60 г рыбы, 6 г растительного масла. В целом, выходит 1830 килокалорий (по нормам для «лётного» дня, которые часто занижались), этого недостаточно для восполнения потраченной за день энергии даже в условиях, когда человек не двигается, а температура воздуха не опускается ниже 20 градусов.

Из ШИЗО не выводили на прогулку, на свидания (даже с адвокатом), были не разрешены переписка (получение и опрвление писем), посылки, бандероли, книги, туалетные принадлежности, заключённые не получали постельного белья, матраца, и, что особенно тяжело переносилось узниками совести, бумаги, карандаша, ручки и т.п.

Помимо пытки голодом, широко использовалась пытка холодом (в жару — духотой). В ШИЗО создавали условия, способствующие заболеванию туберкулезом — например, здоровых помещали в одну камеру вместе с больными открытой формой туберкулеза.

Но и эти пытки были не самым тяжелым испытанием. В ПКТ и ШИЗО (также как и в тюрьме) оперативным службам пенитенциарных учреждений, располагающим большим штатом агентов, информаторов и провокаторов среди заключенных, гораздо проще, чем в лагере, использовать особые способы подавления («пресс») непокорных арестантов. Для этого используются пресс-камеры («пресс-хаты»), в которых специально подобранные операми («кумовьями») заключенные пытаются, истязают, насилуют тех, кого к ним сажают, с целью добиться от них чего-нибудь конкретного (например, узнать, где хранятся деньги из арестантского «общака», подписать заявление с отказом от «воровских идей» и т.п.). При Брежневом в отношении политзаключенных чаще использовался «змейский пресс» — постоянное психологическое давление на арестанта со стороны «кумовских» агентов. С приходом к власти Андропова к политзаключенным стали применять и обычный пресс, их избивали и истязали провокаторы, подсаженные операми или службами КГБ. В 1985-1986 гг. использование «змейского» и обычного прессы в тюрьмах, ШИЗО и ПКТ приобрело еще большие масштабы.

12. См. примечание к стихотворению «Майерлинг».

13. «Свободный московский журнал ПОИСКИ» выходил в Самиздате (1978-1980 гг.) и тамиздате (Нью-Йорк, Париж, 1979-1984 гг.). Это был «толстый» художественно-публицистический журнал, издатели которого провозгласили принцип взаимопонимания, равноправного представления различных концепций, идей и точек зрения, существовавших в то время в стране. За двадцать месяцев (столько времени выходил журнал) «поисков взаимопонимания» восемь его издателей и сотрудников провели (в 1979-1987 гг.) в общей сложности более двадцати лет в тюрьмах, лагерях, ссылке, Виктор Томачинский погиб в тюрьме.

14. В подборку, которая была опубликована в разделе «Слово узникам Архипелага»

четвертого номера «Поисков», вошли стихотворения из самиздатского сборника Виктора Некипелова «Анестезия»: «Петрушка», «Вьюга», «Стена», «Старая фотография», «Надо!», «Видение» и «Дюны».

15. «Хроника текущих событий» — самиздатский информационный бюллетень советских правозащитников, главное диссидентское периодическое издания конца 1960-х — начала 1980-х гг. Всего вышло 64 номера, первый — 30 апреля 1968 года, последний номер датируется декабрем 1982 года (вышел в 1983 г.). «Хроника» была одним из главных источников информации о нарушениях прав человека в СССР, сыграла большую роль в создании единого независимого информационного пространства, охватывая все значимые в нашей стране проявления диссидентской (и не только диссидентской) активности. Все 16 лет КГБ преследовал издателя «Хроники», и состав редакции часто менялся. Андрей Дмитриевич Сахаров называл «Хронику» самым большим достижением правозащитников. Он писал: «Больше всего боятся репрессивные органы этих скромных тетрадок из папиросной бумаги».

16. «Формула Ренана», в изложении Хосе Ортега-и-Гассет: «Общая слава в прошлом и общая воля в настоящем; воспоминание о совершенных великих делах и готовность к дальнейшим — вот существенные условия для создания нации... Позади наследие славы и раскаяния, впереди — общая программа действий... Жизнь нации — ежедневный плебисцит». Цитируется по статье Ксении Касьяновой «Представляем ли мы, русские, нацию?» (Иное. — М.: Аргус, 1995. — 440 с. Стр.137.).

17. Гусак — Генеральный секретарь компартии Чехословакии, занявший этот пост после ввода советских войск в августе 1968 года. Награждение Гусака орденом Ленина, а Брежнева орденом Белого Льва с цепью (высшая награда ЧССР) в феврале 1973 г. было поводом для нескольких очередных анекдотов, за которые тогда уже почти не сажали. Поэту естественней было отозваться на событие, широко освещавшееся советской прессой, памфлетом. С формальной точки зрения, памфлет под статью о клевете на строй (ст. 190-1 УК РСФСР) не подпадал, поскольку речь шла не про строй, а про конкретных людей.

18. Документ, имевший в то время широкое хождение в Самиздате, был включен в качестве «вредного» в обвинительное заключение, но в приговоре не упоминался.

19. По некоторым оценкам, информатором, агентом или провокатором охранных ведомств был каждый десятый советский гражданин.

20. В.А. Некипелову также инкриминировали передачу одного из номеров «Хроники текущих событий» «свидетелю» Дворцину В.Ф. (знакомство с Дворциным Виктор Некипелов отрицал) и листочек с черновым наброском плана написания будущей книги, которая, по мнению судей, должна была быть антисоветской.

21. Для примера — несколько эпизодов из второго дела В. А. Некипелова.

Директор школы, где учился младший сын Некипелова Женя (тогда ученик 3-го класса), свидетель И. С. Былов, в своих показаниях сообщил, что после того как Женя высказался каким-то несоответствующим образом про 25-й съезд КПСС, на него было заведено досье.

От защитника, предложенного ему владимирской коллегией адвокатов, В.А. Некипелов отказался, поскольку тот требовал от своего подзащитного предварительного согласия на признание себя виновным и раскаяния. Московским и западным адвокатам в участии в деле В. Некипелова отказали.

Дату и место проведения суда тщательно скрывали от жены и близких родственников, и они попали в зал суда (выездное заседание провели не во Владимире, как ожидалось, а в Камешково) лишь на второй день процесса... Как и было тогда принято, в здание суда никого, кроме близких родственников и свидетелей, не пускали, даже на оглашение приговора.

Виктор Некипелов не собирался участвовать в следственном и судебном фарсе. В

завещании, написанном за два с половиной года до второго ареста, Виктор писал: «Вернусь ли? У меня есть все основания в этом сомневаться... У меня нет страха перед новой тюрьмой — лишь чувство безграничного омерзения и чисто физической брезгливости... С первого же дня я не намерен ни говорить со своими тюремщиками, ни подписывать бумагу, ни исполнять их обрядов... Я сделаю все возможное, чтобы не причинить, даже косвенно, вреда своим друзьям. Со своей стороны прошу их помочь моей жене и малолетним детям как можно быстрее уехать из этой страны, в которой нет ни права, ни правды — ничего, кроме все подминающей под себя идеологии... Я прошу об этом единственно ради сохранения своих детей». Но на судебном процессе, увидев знакомых камешковцев, хоть и специально подобранных (все-таки, маленький город — были и простые люди), Виктор Некипелов выступил в прениях сторон (он имел на это право, поскольку не было адвоката) и сказал последнее слово.

22. Музыка на стихи В.Некипелова была написана бывшим узником совести Петром Старчином, который довольно точно уловил внутреннюю мелодию текстов.

23. Борис Александрович Чичибабин (1923-1994) — поэт, бывший участник Великой Отечественной войны (1942-45), узник совести (1946-1951), член Союза писателей СССР с 1968 г., автор нескольких стихотворений, опубликованных в официальных изданиях (1958-1968), Самиздате и тамиздате. Был исключен из СП СССР за выступление на своем юбилейном вечере в 1973 г. Восстановлен («с сохранением стажа») в этой организации в 1987 г. В 1998 г. награжден (посмертно) орденом Украины «За заслуги» 3-й степени.

24. Об этом писала, например, М.Г. Петренко-Подъяпольская в предисловии к бостонскому сборнику стихотворений: Виктор Некипелов. СТИХИ. (Избранное). — Бостон, Мемориал, 1992. — 108 с.

25. Ходорович Сергей Дмитриевич (г.р.1940) — распорядитель Фонда помощи политзаключенным в 1977-1983 гг. Был арестован в апреле 1983 года, приговорен по ст. 190-1 УК РСФСР к трем годам лагеря строгого режима. Отбывал наказание в Норильске, где против него было возбуждено второе дело по статье 188-3 УК РСФСР («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительно-трудового учреждения»). Вышел на волю в ходе кампании по освобождению (почти принудительному) большинства (не всех, последних освободили только после августовского путча 1991 г.) политзаключенных, начавшейся в 1987 году. Сразу после освобождения эмигрировал во Францию.

26. Ст. 188-3 УК РСФСР («Злостное неподчинение требованиям администрации исправительно-трудового учреждения») была введена в уголовный кодекс 13 сентября 1983 года. «Под неповиновением понимается открытый отказ, нежелание выполнять или подчиняться законным требованиям администрации исправительно-трудового учреждения... когда осужденный препятствует проведению мероприятий политико-воспитательного характера (трудовое соревнование, разъяснение законодательства и т.п.)... Субъектом преступления... могут быть лица, которые... подвергались в течение года наиболее суровым мерам взыскания... в виде перевода в ПКТ... или тюрьму» (Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. — М.: Юрид., лит., 1984. — 528 с.). Организовать «злостное неподчинение» было делом несложным. Достаточно было посадить арестанта два-три раза в ШИЗО (за невыполнение нормы выработки, растепнутую пуговицу, две лишних книги в тумбочке), это давало повод признать заключенного «злостным нарушителем режима содержания» и перевести его в ПКТ или тюрьму. Хотя статья 188-3 предусматривала наказание в три года лишения свободы, применять ее можно было неоднократно.

27. Марченко Анатолий Тихонович (23.01.1938 — 8.12.1986) — рабочий, писатель, участник правозащитного движения, герой и подвижник. В лагерях, тюрьмах и ссылке находился: 1958–1959, 1960–1966, 1968–1971, 1975–1978, 1981–1986. Самая известная книга Анатолия Марченко — «Мои показания», первое потрясающей силы свидетельство о

послесталинском ГУЛАГе. «В заглавии книги — очень точное выражение жанра и сути, пишет в предисловии к «Моим показаниям» Ю.Я. Герчук, — автор лишь свидетель на грядущем Суде, готовый на жертвы, чтобы огласить свои показания».

С августа 1986 года Анатолий Марченко держал отчаянную, смертную голодовку в чистопольской тюрьме, требуя освобождения всех политических заключенных. Эта голодовка, безусловно, сыграла свою роль в первых освобождениях политзаключенных в 1986 году (в октябре советские власти обменяли Юрия Орлова на советского шпиона в США, в ноябре были освобождены политзаключенные-женщины). Есть основания полагать, что в конце ноября Марченко прекратил голодовку. 9 декабря стало известно о его смерти (официальная дата смерти Марченко — 8 декабря 1986 года). Скорее всего, смерть Анатолия Тихоновича — результат не оказания медицинской помощи. Это было в традиции ГУЛАГа того времени: заключенным (тем более узникам совести), объявившим голодовку и даже закончившим ее, было не положено оказывать элементарную медицинскую помощь.

«Мой муж хотел одного — милосердия, — писала позже Лариса Богораз, — от него одного ему стало бы легче в эти тяжкие дни, когда он слабел с каждым часом и чувствовал себя совершенно беспомощным. Не конкретной помощи, а милосердия. А почему от врача? А от кого же еще? От надзирателя? От прокурора? На врач белый халат, сумка с красным крестом — устаревшие символы службы милосердия.»

«Власти никогда не могли простить Марченко его подвига, — сказал А.Д. Сахаров, — ему был вынесен приговор. Двадцать лет мучений и гибель в чистопольской тюрьме — это и было замедленное приведение в исполнение этого приговора.»

28. Хотя при М.С. Горбачеве продолжалась практика «торговли» узниками совести (о чем Генсек не мог не знать), например, обмен политзаключенных на советских шпионов.

29. Освобождение происходило по каким-то «указам», которые не были связаны с отменой приговора. От освобождаемых вначале требовали подписать заявление с отказом от дальнейшей «политической деятельности». Тех, кто отказывался подписывать такое заявление, освобождали со всякого рода проволочками.

30. Никакой политической деятельностью большинство участников Демократического движения, на самом деле, не занималось. Точнее всего об этом сказал уже упоминавшийся Борис Чичибабин: «Будьте вечно такие, как есть, — /Не борцы, не пророки, /Просто люди, за совесть и честь /Отсидевшие сроки»...

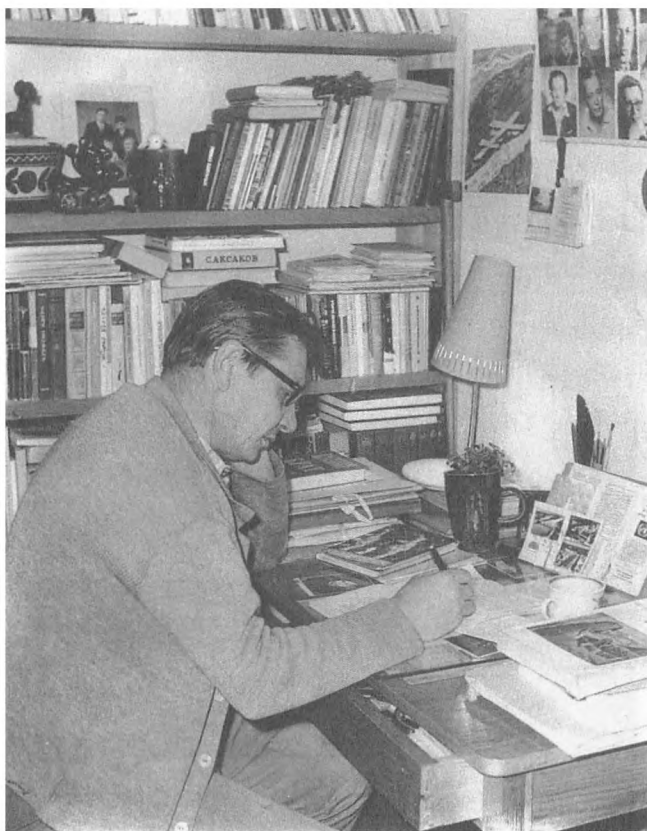
31. Закон о реабилитации, принятый уже в «новой» России (1991 года, с последующими поправками), предусматривает (в отличие от хрущевских времен), что за реабилитацией бывшим узникам совести надо обращаться (в прокуратуру, в суд) им самим или их адвокатам, представителям. Именно поэтому многие бывшие политзаключенные (скажем, Лариса Богораз) предпочли остаться unrehabilitированными. Когда нас сажали и отправляли в лагеря, то никаких заявлений не требовали, кроме покаянных. Про тех же, кто был изгнан из страны или принужден (крайними обстоятельствами) эмигрировать, как семья Виктора Некипелова, в законе ничего не говорится. Но ведь никаких законов или особых средств не требуется нынешним властям для того, чтобы публично признать прежнюю ложь и принести свои извинения пострадавшим от произвола несправедливой власти.

Примечания написаны В.Ф.Абрамкиным.

Использованы сведения из «Хроники текущих событий» (www.memo.ru), архива НИИЦ «Мемориал» и вступительной статьи М.Г. Петренко-Подьяпольской к бостонскому изданию сборника стихов (Виктор Некипелов. СТИХИ. (Избранное). — Бостон, Мемориал, 1992. — 108 с.).

Фотографии автора

Снимки предоставлены Н. М. Комаровой-Некипеловой.



1976 г.

г.Камешково Владимирской области



1978 г.
г.Камешково Владимирской области



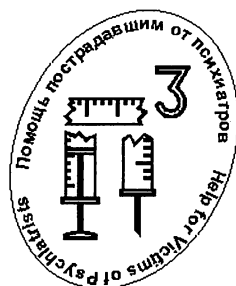
1988 г. Это уже в Париже

Оглавление

Эта книга — о настоящем	3
Благодарности	5
ИНСТИТУТ ДУРАКОВ	6
От автора	7
Кропоткинский переулок, 23	9
«Некипелов, с вещами!»	10
Судебной психиатрии институт	12
Кожура от апельсинов	12
Схема психиатрической экспертизы	13
Зелёный кувшинчик	14
Основания для назначения экспертизы	16
Здравствуйте, психи!	17
Обед	19
«Дураки едят пироги» (Практический статус невменяемого)	20
Первая ночь. Комиссия	22
Структура института	24
«Шейх-антикоммунист»	26
Структура отделения	29
Первая беседа с врачом. Любовь Иосифовна	33
Из дневника. 21 января 1974 г.	34
Экспертизные зеки	34
Распорядок дня	37
Учитель из Ташкента	39
Битва за авторучку	43
Быт. Глава 1	45
Сколько стоит виза в Китай?	46
Быт. Глава 2	49
Окно в мир	50
Научная тухта врачей	51
Саша Соколов и дед Никуйко	53
Потери и встречи	57
Репрессии	59

«Злой мальчик» Витя Яцунов	61
Камера-обскура	63
Методы исследования. Глава 1: «Объективные» методы	65
Вторая встреча с врачом	66
Психологическое исследование	68
Методы исследования. Глава 2: «Субъективные» методы	71
«Задохась от счастья, от света...» (И.И.Розовский)	74
Из дневника. 10 февраля 1974 г.	79
Что есть деньги? (В.Шумилин)	79
Братья мои — уголовники	82
Методы дозволенные и недозволенные	84
Встреча с Лунцем	88
«Комиссии» и «подкомиссии»	90
Комиссия. 18 февраля 1974 г.	91
Кого — куда. Дни и сроки выбытия	94
В палате. День рождения Игоря	94
Майкл — повелитель трав	97
«В чистоте и честности...» Врачи отделения. Д.Р.Лунц	98
Жандармский полковник Полотенцев...	100
«В чистоте и честности...» Врачи отделения. Я.Л.Ландау и М.Ф.Тальце	102
Заявление протеста. 4-я беседа с врачом	104
«В чистоте и честности...» Врачи отделения. Кандидаты наук	106
Тоска. Споры с Полотенцевым	109
«В чистоте и честности...» Младшенькие врачи	112
Мой Мефистофель. Вторая глава о Полотенцеве	113
Медицинские сестры	115
А что если?..	118
Няньки	119
Прогулка. Болезнь	121
Вертухай	123
Из дневника. 10 марта 1974 г. Воскресенье...	125
Типы «бредов»	126
12 марта 1974 г. Последняя комиссия	127
Как же всё-таки «закосить»?	128
Положение политических. Виновы ли врачи?	130
Возвращение в бездну	133
Человек XXI века	134

СТИХИ	138
В прогулочном дворике	139
Майерлинг	140
Молитва цветов	141
Передача	142
Дюны	143
Март	144
Морская прогулка	145
Отплытие	146
3 января 1974 г.	147
Тюрьма — Любовь — Россия	147
Он ушёл покурить за барак	149
Баллада о третьем обыске	150
В одиночке	151
Тюрьма	152
Я ушел за китом голубым	152
Примечания к стихам	153
ОБ АВТОРЕ	155
Биография	156
«Этого им не отнять...» (вместо послесловия)	161
Примечания	169
Фотографии автора	175



Общественная организация «Помощь пострадавшим от психиатров» призывает объединиться всех тех, кто имел печальный опыт столкновения с психиатрической системой.

Адрес организации: 656050 г.Барнаул, а/я 2274. Тел. (3852) 694104.
Интернет-сайт: <http://hvp.org.ru>, E-mail: hvp@hvp.org.ru.

«Я попытался рассказать обо всём, что увидел в этом любопытном, окутанном мраком безвестности учреждении, являющимся своеобразным гибридом советской системы террора и советской медицины.

Я включил в повествование как бытовые подробности, так и рассказы о людях, встретившихся мне в тех удивительных стенах.

Конечно, мои записи страдают досадной неполнотой, поскольку я побывал в институте не в качестве



журналиста-репортёра, а в качестве обыкновенного, связанного по рукам и ногам бесправного экспертного зека. Я почти ничего не смог рассказать о структуре института и организации его работы. Я не смог назвать по фамилиям всех врачей даже своего отделения, ибо в институте они тщательно скрываются.

Но что-то я всё-таки увидел и понял.

Насколько мне известно, в нашей бесцензурной литературе нет ... достаточно полного рассказа об институте имени Сербского, хотя интерес к этому печально славному учреждению, конечно, велик. Так может быть, мои записи хоть в какой-то степени восполнят этот пробел, а главное – позовут к действию кого-то более знающего и опытного. Я так и рассматриваю свою работу – как часть коллективного труда по преданию гласности и, следовательно, обезвреживанию одного из зловещных островов советского ГУЛАГа, сегодняшнюю цитадель наивысшего бесправия и бесконтрольных опытов над незащитным арестантским мозгом – институт имени проф. Сербского в Москве.»

Виктор Некипелов